

## В ПРЕЖНЕЙ РОССИИ И ЗА ГРАНИЦЕЙ ПОВЕСТЬ О СУДЬБАХ РОДИНЫ И О САМОМ СЕБЕ

*Евгений Аничков*

Подготовка текста и примечания Корнелии Ичин

DOI 10.17323/2658-5413-2020-3-1-193-223

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Детство, предки, родители и родня

#### ГЛАВА I

##### В Петербурге, на Кавказе и в Подмосковной

*Проблески памяти — мальчик с книжкой — казаки и горные стремнины. — Кизиловое дерево, джапары, белый ишак и замок Керагли. — Лесной царь в Закавказье. — Родители и знакомые. — Приезд Государя. — Назад на север. — Новосильцовы. — Мы дети.*

#### Проблески памяти

Может быть, оттого мы и не храним в памяти свое крошечное я, которое еще только что начинало лепетать, что настоящему Я надо было вместить в себя хотя бы в какой-нибудь степени наследие, данные, те кое-какие основы цивилизации, какая бы первобытная она ни была, без которых мы вовсе не становимся себе подобными. Ведь стать человеком и значит научиться лепетать, и лепет — первое усилие, необходимое, чтобы проникнуть в человеческую среду. До лепета не человечество, а часть, не совсем еще порвавшая свою чисто физиологическую связь с матерью, рядом с которой тоже, думается мне, чисто физиологически ощущается отец.

Может быть и еще другое. Ребенок, который так неудержимо торопится жить, т. е. с какой-то фантастической быстротой воспринимает неисчислимое количество знаний, слов, грамматических правил (это последнее не более таинственно), привычек, навыков, принципов поведения, ребенок совсем никаких усилий не делает, чтобы запомнить свое недавнее прошлое. И это продолжается очень долго. Еще в течение всей молодости. Только в зрелости пробуждается любопытство к началу своего бытия. Но и тогда недосуг. В старости и только в старости начинает вспоминать и любить воспоминания, и они почему-то так яркие и отчетливые. Только пожать-то осталась тощая...

Соберу ее.

### Мальчик с книжкой

Я стою у окна и смотрю в узкий двор, туда, далеко вниз, куда спускаются высокие стены с множеством таких же окон, как мое. Кажется, за моей спиной стоит няня или гувернантка. В глубине колодца, куда направлено все мое внимание, происходит нечто совершенно фантастическое: там — наш кучер, татарин, — его звали, должно быть, Ибрагимом, если только Ибрагим не был наш человек, тоже татарин, — запрягает Битюга и Шведку. Но не это самое загадочное; рядом с кучером оказался и наш человек. Ведь он всегда тут, наверху. Как же он мог попасть в этот таинственный колодец, где, оказывается, живут Битюг и Шведка? Какой он счастливец!

Знал ли я о существовании черной лестницы, по которой можно спуститься из нашей кухни прямо во двор?

Во всяком случае, очень долго, не только в это далекое время сумерек памяти, когда мне было не более трех лет и мы жили еще в Петербурге, но и гораздо позднее, еще и в гимназические годы, черные лестницы мне представлялись не иначе как в ореоле чего-то трудного и таинственного. Это совсем не так просто — выйти из кухни и спуститься по черной лестнице! Да и куда она ведет? Какой там вход? Откуда? Очень загадочно и почти опасно. Черная лестница — это какое-то в высшей степени неудобное сооружение: за перила взяться нельзя, не то, что они испачканы, но уж лучше не трогать, пахнет кошками, дикими и голодными; на каждом шагу дверь в чужую кухню, и двери отворены, так что проходить мимо как-то неделикатно, точно забрался к чужим людям, а каменные плиты, по которым идешь, слизкие, противные и вообще подозрительные. Вот двор, куда ведет черная лестница, — если только это правда, что так легко попасть во двор, двор — это другое дело. С тех пор как сделано это открытие, что там живут Битюг и Шведка, и говорить нечего! Но и помимо этого. Двор вроде деревни, т. е. раздолье. Двор, узкий мощный булыжником двор петербургских домов-ящиков, был мне, вероятно, гораздо заманчивее Летнего сада.

Сам по себе Летний сад не представлял даже никакого интереса. Летний сад, это — город. Тут идти — надо одеть кафтанчик, опоясаться красным кушаком, на голове ямская ярко приглаженная шляпа с перьями, и единственно, чем отличается от улицы Летний сад, это что можно пробежать несколько шагов вперед от гувернантки. Но разве так бегают? А что там деревья, ну это уж совершенно ни к чему; дерево, на которое нельзя лазить, не дерево, а просто так себе. Непонятно, зачем они нужны. Да вообще, что такое дерево в городе? Ничего, кроме презрения, оно вызывать не может. Самый нужный сорт деревьев.

Из всего Летнего сада я запомнил от тех времен только главную аллею, не доходя часовни. Часовня. Нева — уже далекие неведомые страны. Мы входили в маленькие ворота от Инженерного замка. Возможно, впрочем, что и были-то мы в Летнем

саду только один-два раза, и оттого он запечатлелся в памяти. И даже не сам он, а событие. Рядом с Летним садом — Царицын луг, где всегда бывают майские парады, т. е. маршируют солдаты. Вот это место! Увидеть бы майский парад!

Идем по главной аллее Летнего сада — новая гувернантка Ольга Павловна Кованько, хорошенькая брюнетка, только что из института, брат и я. К Ольге Павловне подошли ее двоюродные братья — два моряка, еще кадеты. Пошли в сторону Царицына луга.

— Отчего нет военных?

— А мы?

Какой странный ответ! Моряки, конечно, интересные: у них шапки на затылке и сабли вроде игрушечных, но ведь я возмутился тем, что нет майского парада. Как это объяснить? Мне показывают в утешенье:

— Вон, посмотри!

Да я вижу, что на плацу какая-то маленькая часть производит учение, но я вовсе не настолько глуп, чтобы не понимать разницу между майским парадом и каким-то ничтожным учением, хотя я и не видел никогда парад. На всю жизнь сохранилась обида от этого случая.

Но произошло в Летнем саду и настоящее событие: мы встретили Государя. Я совершенно его не помню. Я знаю только, что на этот раз я поступил совершенно по-своему, по непосредственному влечению, и меня, однако, нисколько не бранили. Мальчики должны поклониться Государю. А поклониться — значит большим пальцем быстро сдвинуть резинку от ямской шапки вперед через подбородок и затем, взявши шапку снизу тем же большим пальцем, а сверху всеми остальными снять и опять надеть. При этом отнюдь не надо делать никакого движения головой. Именно это все надо было исполнить при встрече с Государем. Я же поступил иначе. И не думая о том, что надо поклониться, я выбежал вперед, ударил в ладони и закричал:

— Ура, Государь идет!

Так впервые я проявил патриотизм и верноподданнические чувства.

И была какая-то связь между изобретением церемониала при встрече с Государем и тем мальчиком на маленькой, немного бледной фотографии, который изображен склонившимся над книжкой. Мальчик с такими толстыми щеками, что они совсем сплющивают маленький нос и губы, с ровным пробором сбоку, прилизанный помадой, в русской рубашке, пояске, широких шароварах и сапожках с красной сафьяновой оберткой, сидит на высоком детском стуле, а перед ним открытая книга. Он точно читает. Я всегда знал, что это фотография с меня в годы нашей жизни еще в Петербурге. И она меня беспокоила. Почему с книжкой? — думал я несколькими годами позже. Я очень долго не умел читать. Говорили даже, что пора бы. Почти стыдно. А меня вон еще когда взяли да и сняли в виде мальчика с книжкой. Долго

вызывала волнение эта карточка, вселяя какую-то смутную оценку себя. Будто и неспроста это. Не просто фантазия матери. Что-то это значит. Недюжинность, что ли, какую-то. Мне было лет 7 или 8, когда я узнал, что г-жа Столыпина<sup>1</sup>, урожденная княжна Горчакова, мать будущего премьер-министра Петра Столыпина и известного журналиста Александра, прозвала меня: мосье Тьер. А кто-то из родственников звал меня еще: Премудрый Соломошка.

Но я решительно ничего не знал о себе умного, никакого рассуждения или просто умного словца, — разве что, вот тогда, изобретение церемониала при встрече с Императором, и оттого событие в Летнем саду получило в моем сознании особое значение.

### **Казачи и горные стремнины**

— Папа, посмотри, старик садится фореитором, а мальчик на козлы!

— Значит, старику больше нравится верхом, чем на козлах.

— А разве это можно, чтобы фореитором был не мальчик, а кучер был совсем без бороды?

Так ясно, очевидно тогда вспомнилось, что там далеко, в Жданных, когда мы ездили на шестерке, на козлах сидел важный кучер, и у него было много вожжей в руках, а уносом<sup>1</sup> правил мальчик; ноги доходили только до полбрюха лошади, а в руках была плетка. — Они казаки. Казаки любят сидеть на коне.

Казаки! Вот это какой народ. Я знаю, что мы едем на Кавказ через Кубанскую область, что деревня, где нам перепрягать лошадей, не просто деревня, а станица.

Романтизм казачества уже коснулся детской души и волновал. Теперь воочию. И что-то близкое ребячеству, понятное именно в этом возрасте, повеяло на сердце. Есть же, значит, такие люди, которые чувствуют как мы, дети. Вот старик, а поступает как ребенок, как поступил бы я. Конечно, предпочел бы ездить фореитором. Молодцы казаки. Вот это люди! И всегда на войне!

Меня сажают на козлы рядом с юношей, правившим лошадьми, но мне не совсем нравится. Во-первых, обидно за юношу. Все-таки нехорошо, что старик-отец, пользуясь отеческой властью, посадил его на совсем не почетные козлы. И потом непорядок. Когда я раньше сидел на козлах, никогда не было на них так просторно. Кучер занимал большое место, и оттого было уютнее. А теперь какие-то пустые козлы.

Так подумалось совсем мимоходом, а вот оказалось — на всю жизнь, хотя стольких бы можно было тогда же набраться впечатлений.

Мы проехали в Тифлис по знаменитой своей живописностью Военно-грузинской дороге.

Однако о ней — все стерлось.

<sup>1</sup> Первой парой лошадей при запряжке четверней. — *Прим. ред.*

Разве будто — хотя я в этом не совсем уверен — в память все-таки проникло одно место, где дорога вилась по урезу горы. С одной стороны высокая скала до самого неба, а с другой пропасть. И пропасть — выражение, которое закрепилось в сознании, как что-то — страшное, зловещее, от чего веет смертью. Пропасть, пропасть! Не скалы и не снеговые горы, Казбек — ведь тоже представление о чем-то знаменательном, а — пропасти стали неотъемлемым признаком этого необыкновенного Кавказа, через который лежит наш путь.

И вот — в одном месте, почему-то так случилось, что я посмотрел или мне сказали посмотреть вниз в пропасть. Она не поразила своей глубиной и совсем не показалась мне страшной, производящей мрачное впечатление. Там на самом дне бурлил, перескакивая через огромные камни, пенился и переливался поток.

— Терек!

Был ли это действительно Терек? Но до сих пор при слове «Терек» отчетливо встает именно этот образ. Иначе не могу его себе представить.

И, по-видимому, действительно запомнилось.

Сколько лет прошло до той поры, когда я в первый раз опять увидел горы? Только уже женатым, во время третьей заграничной поездки.

Когда мы втроем: Анна Митрофановна<sup>2</sup>, мой друг Алеко Ону и я спустились на Рейн через Schwarzwald <Шварцвальд>, переночевав в San-Blasien <Санкт-Блазиен>, в одном месте как раз бурлил поток на дне пропасти, и мне вспомнилось: так ярко-ярко, что нечто подобное я когда-то давным-давно уже видел и тогда залюбовался... Может быть, действительно, из забвения встало детское, забытое и мимолетное впечатление, вошедшее в подсознание гораздо глубже, чем в явь.

И ни с какой другой поездкой в горной местности, по-видимому, не связан этот поток в глубине ущелья.

Мы ездили из Тифлиса летом в дачное место: Коджоры.

Если стоять в Тифлисе на площади против дворца спиной к той части города, которая на самой Куре, видна высокая гора, на середине которой белеет монастырь Св. Георгия. Вот на эту гору надо подыматься, чтобы на лошадях проехать в Коджоры. Все время дорога вьется, огибая скалы и беспрерывно — пропасти. Однако, чтобы там где-нибудь я увидел что-нибудь похожее, не помню. Напротив, как будто внимание привлекало совсем другое: скалы и простор горных видов. Надо было проехать и через туннель, только что тогда прорытый, и я знал, что рвали камни взрывами пороха. Интересно и немного жутко это было узнать. А по другую сторону дороги — такие широкие виды, далеко, далеко можно глядеть, и стелется какая-то обширная, открытая местность. Так ли это? Не стану проверять себя. Да и как все это должно было измениться за полстолетия.

Лучше записать яркие и настоящие, несомненные вспышки памяти.

На полдороги в Коджоры — духан. Так отчетливо узналось новое слово. Духан не трактир, не почтовая станция, не кабаk. Духан — это особое место, где дают пить темно-желтое терпкое кахетинское вино, и вовсе не из бутылок и стаканов. Какая проза! Вино в бурдюке и точится из одной из ножек в железный круглый ковш. Приносит его грузин в остроконечной черной бараньей шапке и черном шелковом бешмете, опоясанном кожаным узким пояском с серебряной отделкой черного серебра. Духан расположен на месте, где расширяется дорога и откуда открывается особенно живописный вид на долину. Дом это был или сакля? Хотелось, чтобы ни то ни другое, а пещера. Или сакля была приперта к скале?

### **Кизиловое дерево, джапары, белый ишак и замок Кероглы**

Невольно перенесся именно в Коджоры.

В самом деле там первое пробуждение мысли. Коджоры — родное, заветное. Что не могу не оговорить, там — единственные совсем светлые, ничем не омраченные воспоминания детства.

Тифлис ничего не дал.

Ходили играть в Дворцовый сад, тенистый, обнесенный стенами, и там была маленькая горка, на которую было весело вбежать. Если не туда, то прогулка ограничивалась каким-то сквером. Это слово всего более подходит, потому что тенистых деревьев не было. Вероятно, только что разводили. Мы шли мимо больших цветочных клумб по просторным дорожкам.

К этому прибавлю разве то, что рассказывали, как мимо дворца на площади проходил караван верблюдов, и кто-то штатский, заторопившийся пересечь каравану дорогу, замешкался у переднего верблюда. Тому не понравилось, и он плюнул штатскому на цилиндр. Ужасно казалось смешно, и все симпатии, конечно, были на стороне верблюда.

— Отлично, так ему и надо, в цилиндре сунулся под караван! Цилиндр! Что может быть смешнее.

Вот — все.

Зато Коджоры! Сколько там произошло неизгладимого!

Прежде всего кизиловое дерево.

Оно стояло между дорогой и той низенькой дачкой, на которой мы прожили оба лета, что провели в Коджорах.

Очень легко было взобраться на расходящиеся ветки кизилового деревца, и сроднилась кора на них, физически, ощущениями знакомая, не головным образом, а руками и ногами. Свое. Точно человек, который приласкал. И ягоды на нем можно было рвать, забравшись на ветки, — красненькие с большой косточкой, немного терпкие и совсем особого, ни на что другое не похожего вкуса. Вкус стоял особенно родной. Совсем как морошка. Два родных вкуса, от которых бла-

гоухает память, там, на далеком юге, на чужом, никогда больше не виданном Кавказе, и на северной родине вкус северной ягоды, даже москвичам в свежем виде и мягкой, когда она поспеет, незнакомой. Впрочем, именно из-за кизила Кавказ — не чужой. И бывало, в киевском варенье, когда еще продавали во лубковых коробках, а не в банальных бумажных коробках, выудишь кизиличину в сахаре и точно, правда, чем-то исполнится душа таким, затаенным, сердечностью.

Забравшись на кизиловое дерево, я, кажется, проводил неисчислимое количество часов.

С кизилового дерева я видел, как по дороге проскакивали мимо нас джапары. Маленькие, сухие, смуглые, в светлых черкесках и огромных папах на затылок, они неслись на своих лошадях и иногда подымались во весь рост, и не то чтобы на своих коротких стременах, а на седло, мчались стоя, точно представление давали. А за плечами винтовки в косматых бурочных чехлах. Шашки, с кавказскими эфесами, глубоко вдвинутые в пестрые кожаные ножны, на узких ремнях, украшенных серебряной чеканкой, и спереди огромные, почти до колен, кинжалы. Слышались иногда и их непонятные картавые выкрики, и взмахивали джапары твердыми, как маленькие цепи, нагайками.

Я спросил, что такое эти джапары?

Ответ меня очень разочаровал:

— Это местная полиция!

Я думал — разбойники, или еще интереснее, не усмиренные еще черкесы. Тогда много говорили о Шамиле<sup>3</sup>. Почему-то — и, может быть, это русское свойство — влекло именно вот к этим нашим противникам. К ним были обращены симпатии. И из старших никто не говорил о местных жителях с озлоблением. Та военная среда, которая меня окружала, даже как будто и не чувствовала себя завоевателями, еще меньше высшей расой. Недавно в статьях о Лермонтове я постарался представить психологию мальчика, побывавшего, как и я, на Кавказе, и его неудержимое влечение хоть в мечтах пробраться туда, в заколдованный и романтический мир горцев позади нашего сторожевого охранения, в казавшийся еще более живописным неумиротворенный Кавказ. Страница о «Кавказском пленнике» мне удалась, в ней автобиографический вклад в понимание Лермонтова. Ведь и у него чего совсем нет, так это чувства завоевателя. Всюду, по-видимому, русские входили в новые земли с каким-то, может быть, и не удававшимся или просто невозможным намерением стать друзьями, приобщиться к местной жизни, не только не разрушать обычаев и вообще быт, но, напротив, в них войти.

Разве даже в Польше, несмотря на то, что туда посылали самое низкое по своему нравственному уровню чиновничество, да еще всячески обязанное по предписаниям свыше относиться с презрением к полякам и всему польскому, разве, спрашивается, и в Польше не происходило некоторое ополячение

русских, без того, однако, чтобы они стали взаправду поляками, забыв свою принадлежность к отечеству.

На Кавказе таким чувством какого-то стремления к экзотике, к местному, к чужому, национальному, такой любовью к Кавказу прониклось и мое сознание, и это никак не шло в разрыве с тем, что я слышал от взрослых.

На том же дворе, что и мы в Коджорах, жила семья грузинских князей, которых фамилию я забыл. Одна из княжон, молодая девушка, часто возилась со мною. И мне нравилось, что она одета по-своему: маленькая, надвинутая на лоб, круглая шапочка черного бархата с блестящим крестиком и темный шелковый, короткий камзол с широкими рукавами, подобный тем, какие и до сих пор в Белграде можно видеть на пожилых сербках. От шапочки на спину, закрывая волосы, спускалось нечто вроде вуали. Девушка была чернобровая, с такими правильными чертами лица, как обыкновенно у хороших грузинок, но эта бросающаяся в глаза красота как-то удивительно запросто вязалась с полным отсутствием кокетства или манерности. Хорошая, добрая, простая девушка. И я совсем не был в нее влюблен, хотя, пожалуй, и в этом возрасте был способен загораться — страстью не хуже, чем Лермонтов, к той девушке в Пятигорске, которую он считал своей первой любовью.

Княжна научила меня грузинской песенке. Я удержал в памяти только начало:

Гульши варды  
Ратмин да ме

Что это значит, не знаю. Вероятно, и слова-то эти грузину показались бы дикими, и только после некоторого напряжения он схватил бы, какие настоящие грузинские слова они обозначают. Но не все ли равно? Это все-таки доподлинный грузинский лепет, вот шестьдесят два года таящийся в глубинах русской души, шестьдесят лет как покинувшей раз навсегда Кавказ.

Кизиловое дерево, джапары, грузинская княжна! Разве мало этого для романтического воображения!

Присоединю к ним очень скромное и совсем неромантическое существо: белого ишака, которого мне приводили иногда поиграть. Брату — другого, серого, и не совсем маленького. Мой был больше, и оттого на него было труднее взобраться. Но как живое существо, как личность — кто осмелится поспорить с тем, что у животных есть личность? — только мой белый ишак еще одна связь с Кавказом. Да, мне кажется, что я помню его в лицо, как позднее столько лошадей и собак. И именно в лицо, а вовсе не ради тех или иных отметин. Отметины можно совсем как бы и не знать; есть отметины: белоногая, но которая нога или обе? Узнаешь вовсе не поэтому, а совершенно так же, как и человека, — в лицо, по выражению лица.

Ишак был очень послушный, мне хочется сказать, очень добрый, и отлично понимал, что ему поручено поиграть с маленьким ребенком, и не надо ни упрямиться, ни наступать на ножку, ни кричать, а вообще быть приветливым.

Седло на спине ишака: восточное, с двумя одинаково высокими луками и обтянутое каким-то нежным, блестящим и скользким мехом. Вот это седло помню всем телом, ощущаю до сих пор совсем, как и кизилковое дерево.

С белым ишаком связано одно выдающееся событие.

Всей семьей и в сопровождении еще знакомых — были и другие дети, кроме меня с братом, — мы отправились пикником в Кероглы<sup>4</sup>. Кероглы — это развалины замка. Не Шамиля ли, о котором было столько толков, смутных и неясных, но захватывающих своей сказочностью? То говорили, что такая-то грузинская княжна ребенком была похищена Шамилем, то восхваляли его храбрость и военное коварство. Во всяком случае, при этом названии — Кероглы — воображение было настороже и сердце вздрагивало, как крышка на кипящем чайнике.

Все взрослые ехали верхом. Я в первый раз видел свою мать на лошади. Нам с Ваней были приведены наши ишаки, и мы сами ими управляли, принимая участие в общей кавалькаде. Дорога шла в горы, скорее даже тропинка, чем дорога, а по сторонам — скалы, ущелья, пропасти. Наконец мы выбрались на узкую долину к небольшому озерку, куда с высокой скалы тоненькой струей бил водопад. Озерко было прозрачно, как ручей. Тянуло к нему. Хотелось затеять какую-нибудь игру. Какую? Разве ручонки помыть? Купаться нечего было и думать. По тем временам и детям бы не позволили раздеться, а о купальных костюмах в России и понятия не имели. Разве на картинках в «Journal pour rire» <«Смеховой журнал»><sup>5</sup> их видели. А выше, на верху горы, говорят, было еще одно озеро бездонной глубины. Оттуда протекал поток, сбросившийся тонкой струей в нижнее озеро. Замок или, вернее, развалины — вероятно, гораздо более древние, чем время Шамиля, — виднелся высоко-высоко над нами, и туда никто из всей кавалькады и не пытался подняться. Вероятно, только казалось близко, а на самом деле не так-то было просто туда вскарабкаться.

Поодаль от водопада, в тени скалы были разложены бурки и скатерти. Здесь был главный привал. И взрослые тут и провели все время. Сопровождавшие нас казаки, как будто присланные сюда заранее с провизией, готовили тут шашлыки на кинжалах. Именно не на вертелах, а на концах кинжалов. Сочные, жирные, бесформенные куски баранины дополняли собою дикость окружающей природы.

Лучезарно это воспоминание. Никакая малейшая неприятность или неловкость не омрачила прогулки; точно приголубил, угостил и нарядился для нас в самый интересный свой наряд красавец из красавцев, только что начавший принимать на лоно свое нас, русских, обворожительный Кавказ.

А вот еще одно событие. Оно уже совсем объято романтическим очарованием.

### Лесной царь Закавказья

Где-то около Коджор был лагерь, и там при Офицерском собрании — Ротонда, круглое здание, в котором давались вечера.

Мать и гувернантка, Ольга Павловна, обе молодые, моя мать высокая и очень стройная, красивая, а Ольга Павловна — хорошенькая брюнетка малороссийского типа, как-то раз порхали туда, взяв с собою и нас, обоих детей, брата и меня.

Вечером должны были устроить танцы, и помощник наместника, князь Дм. Святополк-Мирский<sup>6</sup>, убедил мою мать остаться. Как быть с детьми? Ваня еще туда-сюда. Ему было восемь лет, а ведь мне много что пять. И вот состоялось решение, для меня самой первостепенной важности. Огромный урядник Кубанского казачьего войска, в черкеске, с кинжалом, верхом на коне должен был доставить меня в Коджоры. Меня посадили на переднюю луку великого казачьего седла. Уряднику такой возок не новинка, а беспокоиться о том, что поручение не будет исполнено в точности:

— Не извольте сомневаться.

Темень. Сидеть на мягкой подушке превосходно. Ловкая и привычная рука урядника сумеет поддержать в самой удобной позе. Может быть, место мне было предоставлено и на переднем перемете. Во всяком случае, грива была где-то далеко внизу. Едем не по дороге, а тропинками. Утесы. Из-за скал месяц озаряет плывущие по небу облака, и они клубятся, то белеют, то совсем темные, и переливаются они в самые волшебные очертания. Кажется, что они вот тут, сейчас над головой. Светляки роятся где-то по бокам, и тянется куда-то сухая огромная ветка. Сначала чернеет при лунном свете, там впереди, а сейчас вот близко-близко.

Таинствен, загадочен и жуток наш ночной путь. И кажется, так далеко, далеко и та Ротонда, где остались мать и Ольга Павловна с братом, а наша дача в Коджорах зачарована в какой-то неизвестной дали. Нет ли страшна, нет ли, напротив, конца бы не было этой поездке. Главное, что ползет по сторонам из мрака жуть, и преследует, и торопит; только сильная рука урядника — непроницаемая броня против всех страхов и опасностей; не выдаст, не выпустит. Держусь ручонками. Вот она. Робость безбоязненная, и оттого она скорее ласкает, упоительно тербит сердце мальчика. Даже хотелось бы, чтобы стало страшнее. В самом деле, пусть бы там, где блещут светляки и как будто дремучий, нахмурившийся, кто-то не очень злой — зачем? — а так: чужой и грозный высунулся бы, и вынес бы наш хоть из опасности...

Знал ли я тогда гетевскую балладу? Без нее, пожалуй, не затрепетало бы сознание. Во всяком случае, когда гораздо позже чей-нибудь сочный бас заканчивал песню: «В руках его мертвый ребенок лежал», — мне всегда неизбежно — не отогнать — вспоминалась поездка на передней луке казачьего седла, тогда, ночью из лагеря в Коджоры.

И никогда не нравился конец баллады. Зачем? Ведь я не умер? Совсем ни к чему было заставлять ребенка за эту чарующую своей необычностью и загадочной жутью поездку поплатиться жизнью. Устал, конечно, мальчик, и от волнения, и от напряженности, и, всего вероятнее, заснул еще на седле. Наверно, уложить спать в этот вечер не было ни малейшей возни. А тут смерть? Кто этому поверит? Пугаться понапрасну нет совсем никакой надобности. Просто не знал Гете, чем закончить.

И теперь, когда через шестьдесят лет, в старости, в своем профессорском кабинете, специалист по истории литературы и теории поэтического творчества, я записываю этот пережитый эпизод, или тогда еще, или попозже разукрашенный поэтической выдумкой, я совершенно уверен в том, что именно такова была моя детская оценка гетевского «Лесного царя», а невольно, как на стержень, на низываю на нее свою теперешнюю, ученую. Они слились. Они стали неотделимы. Их не оторвать одну от другой, потому что спаяло их то, что бесконечно поэтичнее самой высшей поэзии, — сама поэзия жизни, и восприятие стало творческим.

А разве я не был тогда не умеющим читать мальчиком с книжкой?

Не надо возить гетевской баллады. Erlikönig <Лесной царь> вовсе не такой страшный. А Жуковский его еще назвал Лесным Царем! Правда, бродил по лесу. Это было в XII в., и пели о нем французские жонглеры. Но ведь это в наказание: за грехи он мчался в вечной скачке, и так бы до конца мира. Однако там же, во Франции, это не помешало ему, названному Herlequin <Арлекин>, что ни на есть по-человечески влюбиться в фею Морг, которой он послал со своим слугой, Крокезосом, поэтическое изъявление своих нежных чувств. Так уверяет Адам де ла Галь в «Jeu de la Feuillée» <«Лиственная игра»>, а если Крокезос величает его королем, может быть, он и преувеличивает. Правда, Данте сбросил его в Преисподнюю. И, ставши Allechino <Арлекин>, он сделался одним из самых отвратительных чертей, злым, ненасытным в злобе своей шутом. Только все-таки выскочил из Ада во время религиозных действий, выбежал в публику из страшной пасти адовой и уже добродушнейшим образом пугает детей и женщин, а в конце концов, надолго, до наших дней, превратился в пестрого Арлекина. Напрасно Жуковский возвел его в Лесные Цари, и мальчик с книжкой, занесший его в Закавказье, был прав, что в царстве этом увидел бутафорию, не испугался, напротив, хотел, чтобы побольше он зачаровал самой совершенной поэтической радости жутью дразнящей.

### Родители и знакомые

На Кавказе туманом затянуло того мальчика с книгой, что жил две зимы в Петербурге. Он ушел в далекое прошлое. Зато с этого момента на самом деле началось пробуждение сознания, точнее, с козел коляски, везшей нас на юг по Кубанской области. И вот так ярко встают в памяти все, кто окружал меня, не только родители, но и их знакомые. Все новое я стал воспринимать особенно легко и свежо, как ни-

когда позже, ни один урок в годы ученья. Я запоминаю страшно много и отчетливо. С головокружительной поспешностью я узнаю прежде всего свою семью и одновременно весь круг их знакомых, т. е. всю ту среду, к которой они принадлежали.

Мой отец Василий Иванович<sup>7</sup> — дед был Иван Васильич<sup>8</sup>, как теперь во свою очередь мой старший брат. Отец — майор. Он только что окончил Военно-юридическую академию и теперь назначен в Тифлис военным судьей. Ему 30 лет. Он молодой майор. Чины он получил быстро, потому что служил в гвардии. И вот он назначен не прокурором и не защитником, а сразу судьей. Он важный. У защитников и прокуроров одна полоска на погонах и эполеты не штаб-офицерские. Однако вообще в Военном суде служить нехорошо. Мне казалось, что какое-то таинственное не то несчастье, не то внешнее соображение заставило моего отца пойти по этой карьере. Люди общества — а я уже знаю, что такое «люди общества», — бывают строевыми гвардейскими офицерами, командирами полков и адъютантами, а отнюдь не военными судьями. Мать моя молода и красива. Она светская женщина. И очень скоро, я ясно помню, что еще на Кавказе, я узнал, что отец моей матери Петр Николаевич Дирин<sup>9</sup> потерял все свое состояние, что он чужак, и мать, Ольга Петровна<sup>10</sup>, воспитывалась в доме деда по матери Сергея Александровича Танеева<sup>11</sup>. Это обстоятельство было очень важно, потому что с ним было связано и самое мое появление на свет Божий. Мать бедной барышней, бесприданницей, вышла замуж за моего отца, тоже человека небогатого; однако кое-какие средства у него были. Невероятно вспыльчивая — это диринское свойство, — мать моя часто по утрам взволнованно говорила:

— Je n'ai positivement rien à mettre <Мне абсолютно нечего надеть>.

И я верил. Да, мы бедны, и вот у матери нет туалетов. Иногда только брало сомнение. Любимой жалобой в сердцах моей матери было заявление, что она должна ходить без сапог, а я знал, сколько пар элегантных ботинок образцового сафьяна стояло наготове в ее спальне.

Не знаю, так ли это бывает во всех семьях — впрочем, даже наверно не во всех, — но в нашей было так: мы с братом считали себя только Аничковыми; высшим оскорблением было сказать одному из нас: ты похож на Дирина или на Танеева. Я бесконечно был горд, что наружностью, как маленький и толстый, пошел в отца, а вот брат худой и длинный, значит, он в Дириных, но у него черные брови — признак Аничковых, а у меня нет бровей почти совсем, и это меня сокрушало всю жизнь. Аничковы — это источник всех совершенств, предмет высшей гордости, хотя почему, совершенно неизвестно. При таких обстоятельствах мать казалась какой-то пришлой. Отец мой страстно любил нашу мать, и мы любовались его отношением к ней, внутренне его одобряли, но все-таки мать из враждебного, хотя и родственного клана Дирино-Танеевых. И мать как бы поддерживала нас в таком состоянии первобытной вражды кланов. Мы всегда слышали от нее — и, может быть, не следовало бы, — что она вышла за отца моего не по любви. Мать говорила,

что когда ее отец разорился, она поняла, что она бесприданница. И вот в семнадцать лет явился жених, молодой офицер 1-го гвардейского стрелкового батальона, не очень блестяще. Но он был помещик. У его отца был еще очень большой дом в Петербурге на Садовой<sup>12</sup>, у самого Юсупова сада. Будто бы гувернантка матери, немка Frau Mater <госпожа Матер>, говорила ей:

— Du sollest Guvernante verden <Вы должны стать гувернанткой>, — и это убедило мою мать принять предложение.

Тогда же, кажется, за год до матери, вышла уж замуж ее младшая сестра, тетя Адя — Александра Петровна<sup>13</sup>. Но она гораздо удачнее, за Ивана Евграфовича Новосильцова<sup>14</sup>, бывшего лицеиста, из очень богатой московской семьи, и они с мужем уехали в Херсонскую губернию, где дядя Ваня стал управлять — и, скоро увидим, очень неудачно — большим имением в 2000 десятин чернозему. Тетя Адя почему-то считалась гораздо красивее матери, хотя была маленького роста. И сама себя она считала чуть не красавицей, а мать, теперь бы сказал, без особых оснований осталась о себе скромного мнения. Но все-таки уже очень, по-видимому, в родне принято было высоко ставить Ивана Евграфовича Новосильцова по сравнению с моим отцом.

О других наших родственниках я в то время ничего не знал, кроме очень смутных сведений о том, что у моего отца было несколько сестер, и что они были против брака моего отца, и до сих пор в плохих отношениях с моей матерью, отчего к ним было отношение скорее враждебное, особенно к двум младшим. И таким оно осталось навсегда.

Как все «люди общества», мои родители нашли на Кавказе знакомых и отчасти родственников, занимавших видное положение.

Прежде всего помощник наместника, вел<икого> кн<язя> Михаила Николаевича<sup>15</sup>, кн<язя> Дм<итрий> Святополк-Мирский. Его брат Николай Ив<анович><sup>16</sup> был женат на двоюродной сестре моей матери Клеопатре Михайловне Ханыковой<sup>17</sup>, откуда большое состояние этой ветви Мирских. Т<аким> обр<азом> помощник наместника — он уже тогда был генерал-адъютантом — оказывался некоторым образом в свойстве. Этого старого генерала я хорошо запомнил не только из-за того, что он тогда отправил меня с согласия матери домой, в Коджоры, с казаком, а еще по одной причине, которая нас с братом очень занимала. Часто, гуляя в саду или в сквере, о котором я упомянул, мы встречали Мирского, и он гулял с нами. Говорили, что он ухаживал за нашей гувернанткой. Намерения его едва ли были особенно платонические, но обошлось без малейшего романа; зато мы с братом слегка гордились успехом Ольги Павловны. Раз как-то вместе с отцом появился и его сын, камер-паж. Это — будущий министр и создатель т<ак> наз<ываемых> дней свободы<sup>1</sup>. Только тогда, единственный раз, я его видел.

<sup>1</sup> Период ослабления цензурного влияния после масштабных революционных событий второй половины 1905 г. и до новых административных ограничений свободы печати в 1907 г. — Прим. ред.

Помощником наместника по гражданской части был в то время барон Николай<sup>18</sup>, будущий министр народного просвещения, рыжий, с носом крючком и в противоположность Мирскому совершенно не представительный. У него была дочь, тоже рыжая, не очень-то коротенькая, полная барышня на выданье. Она была невестой кн<язя> Чавчавадзе<sup>19</sup>, кажется, будущего губернатора в Тифлисе. О нем рассказывали анекдот, который нам с братом страшно нравился. Будто ехал он как-то в коляске с будущим тестем, куда-то по службе, далеко. И всю дорогу только задремлет барон Николай, Чавчавадзе начинает напевать:

C'est l'Espagne qui nous donne  
De jolies femmes et du bon vin.  
<Это нам Испания дает  
Красивых женщин и вкусное вино.>

Несколько раз его удерживал Николай, но не брало. Проедут сколько-нибудь верст, и опять старика клонит ко сну... Не тут-то было:

C'est l'Espagne qui nous donne  
De jolies femmes et du bon vin.

Смутно помнится, что этот Чавчавадзе забежал к маме в Коджоры, но были ли мои родители знакомы домами с Николаи, сказать не могу. Между тем тут тоже, правда, совсем отдаленное свойство. Сестра Николаи была замужем за генералом Сутгофом<sup>20</sup>, отцом Александры Александровны Аничковой<sup>21</sup>, значит, тещей Ивана Дмитриевича Аничкова<sup>22</sup>, владельца Зализенья, двоюродного брата моего отца. О нем часто буду говорить. Но за пребывание на Кавказе мы едва-едва кое-что слышали о родственниках. Они казались так далеко.

Оба адъютанта Михаила Николаевича, особенно Дмитрий Филозофов<sup>23</sup>, были совсем свои люди в нашем доме.

Дм<итрий> Филозофов, бывший кавалергард, был двоюродный или троюродный брат отца. Позднее я слышал, что он стал директором театра в Тифлисе и будто ему обязана своей артистической карьерой известная актриса Александровского театра, Абарикова. Другой адъютант — Карл Петрович Баранов<sup>24</sup>, первоначально петергофский улан, брат Петра Петровича<sup>25</sup>, впоследствии генерал-адъютанта, женатого на Ольге Валериановне Бибиковой<sup>26</sup>, по первому браку Борщовой. Карлуша Баранов — так тогда его обыкновенно звали, — и Дмитрий Филозофов жили вместе, и их квартира, где я будто бы раз был с отцом, казалась очень интересной и тем, что они были холостые, и потому, что она была на двоих. Холостые люди и холостяцкие квартиры всегда привлекают воображение детей: необычное и будто вне привычной строгости, что-то такое свободное

и тем притягательное. Да еще и устроено иначе; нет гостиной, а только кабинеты и спальни.

Родством или, вернее, свойством с нами считался также Михаил Федорович Ореус<sup>27</sup>, красивый и нарядный конно-артиллерийский полковник, близкий родственник Ив<ана> Ив<анович> Ореуса<sup>28</sup>, женатого на тете Лизе<sup>29</sup>. Он тогда разводил жену крупного судейского Карпенко и вскоре на ней женился. Это обстоятельство нам казалось чем-то веселым. Смешно было: как это, взял и предложил даме — да она нам еще казалась совсем не красивой: слишком полная и с очень провинциальными манерами, — чтобы она от мужа перешла к нему. И говорили, что они все втроем, муж, его жена и ее жених, отправились в Петербург, остановились в одной гостинице и исхлопотали себе такое, так сказать, *changeons de cavaliers* <смену гонщиков>. Всего забавнее нам представлялась эта поездка. Вероятно, рассказывали ее в комическом духе. Ни тени трагедии. А самую неприглядную роль играл тут будто бы именно муж. Мы, дети, невольно связывали эти пересуды с впечатлением от сына будущей г<оспо>жи Ореус, которого к нам приводили играть. Его одевали в курточку, коротенькие штанишки, и, о ужас, он ходил в носочках, т. е. с голыми икрами. Смотрели мы с братом на эти голые ножки и недоумевали. Еще девчонка — куда ни шло, но мальчик! Стыдно ведь, неприлично и беспокоило. Если бы мы сумели подобрать определение нашим чувствам, оно бы значило — разврат.

Зато какое очарование, когда нас водили к самым близким друзьям нашего дома Оголиным. У них была воспитанница Нина, княжна Цулукидзе<sup>30</sup>. Хорошенькая, стройная, приветливая, донельзя благовоспитанная, вообще какая-то образцовая и милая! Она была, вероятно, на год старше брата. С нею, как вообще с Оголиными, знакомство никогда не прервалось, и когда уже в Петербурге Нина выходила за своего первого и неудачного мужа Коваленского<sup>31</sup>, мой брат, тогда студент, был у нее шафером. Вторым браком Нина была замужем за бар<оном> Александром Феликсовичем Мейендорфом<sup>32</sup>, членом Думы, но скоро умерла. Вот самое прелестное существо, сохранившееся в памяти с детства. Оно и чисто, и прозрачно, и благоуханно, и я никогда не мог понять, почему так вышло, что за время ее замужества за Мейендорфом мы с женой с ней совсем не виделись, хотя Мейендорф был наш очень близкий знакомый.

Николай Степанович Оголин<sup>33</sup> был в Тифлисе важным судейским, а в Петербурге не сенатором ли; но позже вышел в отставку, и они с его болезненной, но какой-то из ряду вон привлекательной своими душевными качествами женой поселились в Женеве. Они не оставили по себе никакого потомства и никогда никто не упомянет о том, что жили когда-то такие хорошие муж с женой, и вот я ничего не могу рассказать о них, кроме того теплого чувства к ним, которое, если бы они узнали об этом, их, вероятно, очень бы удивило. Отчего исчезают

навсегда целые полчища превосходных людей только потому, что не проявились, чего-то хотя бы плохого не наделали. Нет-нет, вовсе не «*visser senza infamia e senza lodo*» <жили без позора и без похвалы>. Но они *только жили*, но хвалили их, ценили, любили их, и они любили, а ведь это очень важно, потому что без таких людей жизнь была бы совершенно нестерпима. Царская, прежняя Россия греховная и несуразная! Но понять ее нельзя, не приняв в расчет вот таких людей, только живших, и живших хорошо. Историю пишут обычно с предпосылкой, что одни были мерзавцы, а другие умело или неумело боролись с мерзостью. Но ведь и эти боролись, только, правда, не во имя и для будущего, а только в настоящем, среди окружающих, сглаживая, чаруя, успокаивая.

Вроде этого мне хочется отозваться еще об одном из близких знакомых моих родителей, хотя тоже рассказать о нем мне нечего.

Это полковник Ридигер<sup>34</sup>, наш земляк. Некрасивый, с нависшими тяжелыми рыжими усами, толстый и неуклюжий, одетый по-армейски, не светский, он был холост и оттого тем более приятельские с ним отношения не имели никакого общего с обычным в той среде знакомством. Он командовал одним из знаменитых молодецких кавказских пехотных полков. Не эриванским ли? В его светлых глазах и улыбке, сквозь несомненную строгость и выдержку, как бы струилось то неопределенное, что нельзя назвать добротой, а чему нет названия, кроме разве симпатичности, что, впрочем, означает совершенно другое. Странно, мы ведь, при малейшей чуткости, отличаем хороших людей от плохих. С первыми мы увереннее, мы к ним подходим ближе; главное, мы им доверяем, а с другими всегда настороже. Надо быть очень недалеким или слишком погруженным в себя, чтобы не уметь разобрать этих двух категорий людей. А понятия, слова, выражения подходящего не существует.

Уж раз пришлось к слову. Я много составил контрактов и обыкновенно удачно. В контракте все должно быть оговорено и предвидены все возможности для обеих сторон не пользоваться его в свою пользу; иначе говоря, все выгоды и невыгоды обусловлены, и раз контракт подписан, не о чем больше разговаривать. Но все-таки остается еще одно обстоятельство, которое надо именно иметь в виду. Самый кропотливо продуманный уговор, где, кому, что, при каких обстоятельствах, все предусмотрено, — желательно заключить лишь с известного рода лицами. И я вовсе не вламываюсь в открытые двери. Это не значит, что с мошенниками никакого вообще сладу нет. Отнюдь. И помимо мошенников есть категория деловой среды, которую надо избегать. Практически: большие, уважающие себя фирмы в силу деловой этики предпочтительны перед мелкими. Их этика соответствует порядочности, а вот то слово, какое можно было бы употребить, если бы оно не обозначало лишь минимальную только законную требовательность к хорошим людям в частной, обыденной, а не деловой среде.

Дидрихс<sup>35</sup> был нашим земляком по Боровицкому уезду, и с его братом мне случится встретиться. Отсюда приятельство. Значит, был ли он «человеком общества» или нет, не имеет значения.

Вот, стало быть, среда, какую я узнал, когда проснулось сознание.

Мои родители бывали при дворе. Отец получал приглашения и запросто, в Боржом, где вел<икий> кн<язь> Михаил Николаевич проводил лето. И гораздо позднее, в Петербурге, я слышал о том, что отец завтракал у бывшего наместника на Кавказе. В Тифлисе на все придворные вечера, разумеется, выезжала и мать. И было обстоятельство, по которому это несерьезное, но в жизни играющее огромную роль положение в свете загнездилось во мне на всю жизнь. Оно связано со службой отца в Военном суде. Отсюда отрицательное отношение к его судейству. Дома говорили, что председатель суда, генерал Галлер<sup>36</sup>, недоволен тем, что мои родители при дворе наместника на ином счету, чем не только другие члены суда, но и он сам.

Однако из товарищей по службе отца двух самых образованных военных юристов — Бабста<sup>37</sup>, брата известного дореформенного экономиста, и Тимашева<sup>38</sup> — я часто видел у нас в доме, и они считались друзьями.

\*\*\*

Написал, и берет сомнение: надо ли было говорить о светскости моих родителей?

Приличие требует разве лишь очень вскользь дать понять: мол, сам собою разумеется и т. д. Или даже снаивничать: ах, положение в свете? Да неужели? Ну да, но разве можно — серьезно о таких пустяках? Однако прежнюю Россию, ту, что рухнула раз навсегда и, может быть, уже совсем позабыта, ее нельзя понять без оттенков, характерных черт, слоевого состава всех сословий, такого пестрого, своеобразного.

Ну а меня самого?..

### Приезд Государя

Эти годы — 70-й и 71-й — не были ли самыми счастливыми в царствовании Александра II.

В 60-х шла борьба и ломка, и бороться приходилось «новым людям», т. е. сотрудникам царя, на два фронта: крепостники и старая николаевская бюрократия, а тут «Колокол»<sup>39</sup>, студенческие брожения, Польское восстание<sup>40</sup>, крестьянские беспорядки, покушения, политические процессы, только что — требования Петербургского и Черниговского земств, а еще недавно и дворянское из самой Москвы... Но все улеглось. Заканчивалось десятилетие полных успехом «великих реформ». А помощь, оказанная во время Франко-прусской войны<sup>41</sup> Германии, повлекшая за собой новые и все горшие и уже непоправимые бедствия, тогда раз

навсегда развязывала руки на Черном море, т. к. дала возможность отвергнуть соблюдение позорного мира 56-го года<sup>42</sup>.

Лишь годом позже, в 72-м году, самарский голод, толки о неудаче крестьянской реформы, новые брожения и новые трудности и внутри России, и во внешней политике.

Во всяком случае, приезд Государя в Тифлис не мог не носить светлый, почти радостный характер. Не мрачным завоевателем является Царь. Ни о какой опасности для него лично, ни о каких мерах подавления какого-либо недовольства не могло быть и речи. И никогда и позже ни о чем подобном я не слышал и не вычитал. Поистине прибыл в столицу Закавказья Белый Царь, который только что дал населению либеральные реформы, освобождение крестьян, гласный суд, цивилизацию. Умиротворили Кавказ не прежние николаевские войска, набранные из рекрутчины, палочные, доблесть коих заставляла забывать весь ужас тогдашней службы, а может быть, и достигалась ее сглаживанием на передовых позициях. Теперь самая форма «милютинских войск»<sup>43</sup>: прежде всего сниженные с разрезом, освободившие горло, удобные воротники и мягкие кепи, заменившие тяжелые кивера, свидетельствовали о еще молодом, неизжитом либерализме. Подбородки все царствование Александра II оставались пробритыми, но бакенбарды и подусники, мягко спускавшиеся от пробора волосы, вместо прежних коков, производили впечатление непринужденности. Вдобавок вне строя на парадной форме в пехоте — полусабли в кованых ножнах, носившиеся как шпаги, тупые, только для вида, а отпущенные сабли в мирное время были даже запрещены, не говоря уже о ношении заряженных револьверов. Точно взаправду какая-то идиллия. И никогда больше не повторилась!

До нас, детей, дошел только один слух, омрачивший приезд Государя, и говорили, что его самого это сильно огорчило.

По Военно-грузинской дороге Государя сопровождал почетный караул пехотного Гурийского полка<sup>44</sup>. Пробираясь через ущелья и тропинки, через горы, они должны были не отставать от коляски, беря напрямик, каждый раз извивалась дорога. Полк это был особый. Долго ли просуществовала его оригинальная форма — не знаю, но тогда она состояла из только облежавшей тело до талии восточной куртки, похожей на то, что носят до сих пор сербы, таких же широких поясов и длинных штан<ов> на застежках от колена до щиколотки. На ногах заостренные чевяки. Головной убор состоял из малинового башлыка, обвязанного вокруг головы, словно чалма. Стрелки, горцы, должны были молодецки щегольнуть своей особой удалью. Но вот, увы, один гуриец на глазах Государя сорвался в пропасть...

В чем состоял обязательный в таких случаях парад, на площади перед дворцом, не помню. Остался только пустой эпизод: Ридигер, верхом, перед своим полком, отсалютовал нам саблей. Какой восторг для нас, мальчиков!

Зато вот интересная подробность. Ясно вижу на уже опустевшей или еще не заполненной войсками площади грузинских князей.

Нигде на свете ничего подобного нельзя было уже больше увидеть. Кусочек далекой сгинувшей старины.

Все на лихих кабардинских конях. Седловка восточная, своя, особая. Низкие седла под широкими, покрывавшими всю спину лошади разноцветными чепраками. Только маленькая передняя лука в виде круглого деревянного торчка. Короткие путлища. Модные небольшие стремяна с тяжелым подвесом, чтоб не болталось стремя. Сами князья в бархатных камзолах с закинутыми за плечи рукавами и в ярких, часто желтых, шелковых бешметах. Широкие шальвары спускались на цветные сапоги с высоким, узким, как древесная шишка, задорным каблуком. Кривые восточные сабли, кинжалы и ружья — все блестит богатой серебряной, а то и золотой чеканкой. На головах остроконечные мерлушковые папахи, а на руке тоже цветная нагайка. Приездка та же, что и у казаков и горцев. Уздечка и высоко поднятая голова лошади, не давая ей собраться, как при европейской езде, взятой у арабов.

Но что особенно поразило тогда русских, о чем много говорили и оттого это дошло до нас, детей, это появление за каждым князем его дружины в десять, пятнадцать коней и в том же туземном, блестящем снаряжении. Ведь куда, в какую глубокую древность канул наш русский феодализм. Да еще и принято было думать, будто и не было никогда у нас ничего подобного. А тут — вот он. Он еще налицо, чего, может быть, и не подозревали те, кто не так хорошо еще осмотрелся на Кавказе. Грузинские князья — феодальные владельцы спустились с гор на встречу Белому Царю и привели с собой еще недавний оплот своей власти, хотя ведь разрушил ее либеральный русский Белый Царь, введивший европейский порядок, едва-едва на первых порах эпохи реформ мирившийся вообще с словным началом. Что это было? Последнее прости? Наивный почет Царю? Почтивший сердца выезд напоказ: «Вот мы и наш народ приветствуем тебя, Белый русский Царь. Алла верди твоему Императорскому величеству!»

Говорили еще, что потом, на выходе одному важному, старому грузинскому князю объяснили, что при рукопожатии с Государем он должен поцеловать его в плечо, а великой княжне поцеловать руку. Но князь, никогда не покидавший Кавказа, забылся. Государю приложился к руке, а великой княжне нанес сочный поцелуй в обнаженное плечо. Ведь рука была в перчатке.

После парада, когда мы вернулись домой, под наши окна — квартира была в высоком *rez de chaussée* <первом этаже> — подъехал Ореус. Он был, конечно,

в полной форме и на коне. Войти не захотел. Вероятно, торопился отвести свою батарею. Но согласился выпить стакан чаю; бросил поводья, и лошадь стала, не шевелясь и опустив голову. Он держал одной рукой блюдечко, а другой стакан, щеголяя объездкой лошади.

Мы с братом были в восторге.

### **Назад на север**

Через два года отца перевели в Вильну, и мы пустились в путь.

Ехали сначала по только что законченной железной дороге на Потти. Нам отвели чистенький новый вагон третьего класса. Других, очевидно, не было. Всегда весело путешествовать по только что отстроенным железным дорогам. Точно торжество. И все еще по-домашнему. С нами ехал генерал из армян, которого я после никогда не видел. Он впоследствии чем-то важным командовал на Дальнем Востоке. Его прозвище было генерал Кишмиш<sup>45</sup>.

На одной из станций он угощал виноградом. Принесли огромную гроздь, которую как-то подвесили под потолком, и можно было срывать ягоды, сидя на скамейке. Врезалось. Ведь такую ветвь несут показать своим единоверным посланные в Обетованную землю «соглядатаи» на картинке из книжки по Закону Божию. Обетованную землю покидали мы навсегда, случайные пришлецы в благословенный край.

В Потти я впервые увидел море. Говорили, что Черное море бурное. И в самом деле, оно неутомимо било своими пенящимися волнами, ударявшими о набережную. Но оно не показалось мне страшным. Новая неизвестная стихия, беспокойная, тревожащая воображение, могучая, будто и жуткая — так, мнится мне, я его воспринял, и весело было проходить по сходням на пароход, разумеется, еще колесный.

Мы шли на Керчь и там пересели на другой пароход. Один из них был побольше, другой совсем маленький, с тесной, набитой пассажирами кают-компанией. И не могу отделаться от мысли, что прошли мы и по Азовскому морю, и о нем говорили свысока, мол, маленькое, не то что Черное, так, вроде озера.

Может быть, оттого сгладилось впечатление от этого первого перехода по морю, что занят я тогда был, по-видимому, совсем другим.

Именно в маленькой тесной кают-компании, пока мы плыли по морю, я испытал свой первый, так сказать, общественный успех: забавил публику. Старшие останавливали, но не бранили. В чем дело? Перед самым отъездом из Тифлиса нас с братом в первый раз взяли в театр. Мне не понравился театральный зал: темный, невзрачный, словно колодезь, куда смотришь сверху. Очевидно, как и должно было быть, мы сидели в ложе. Зато на сцене! Давали оперетку «Чайный Цветок»<sup>46</sup>. Всего поглотило, запомнились и лица, и сюжет. Я с ними жил, любил

и ненавидел. Я находил их смешными, и интересными, и особенными, и трогательными. Ну, разумеется, пылал страстью или, вернее, вчуже хотел во всех перипетиях помочь и угодить примадонне, т. е. Чайному Цветку. Я издевался над толстым китайцем, содержателем кофейни, и радовался, что он глуп и некрасив в своей короткой куртке и белых мягких сапожках, а его длинная коса, выходящая прямо из лысого черепа, ну что же это за прелесть. Его звали Сам-молочай. Такой же смешной и глупый, но уже враждебный, вызывавший как бы полнейшее презрение, был другой, худощавый, китаец. Он был шпион. Про него говорили на сцене: полицейский Крючок, и это позорное прозвище стало на очень долго самым уничижительным, какое мы с братом могли себе представить. Полицейский Крючок — какая гадость! Жаль, что видел «Гейшу». Она, наверно, вытеснила из моего сознания эту очаровательнейшую из всех опереток — так до сих пор чувствую — «Чайный Цветок». Оттого я, наверно, не могу перечислить других действующих лиц.

Сколько стишков я запомнил, и вот их-то я без удержу пел, пока мы плыли по морю, развлекая пассажиров, пел, как мне полагается, фальшиво, но ведь мне едва минуло шесть лет.

Самое острое место не испарилось. Кто-то напевал: «Вот столица, черт возьми!» Вероятно, это не совсем-то дозволенное для маленького мальчика «черт возьми!» было особенно привлекательно. А сколько в ней задора и как много сказано в немногих словах! Столица! Яркое, захватывающее впечатление не только от большого города, а от нее самой, таинственно величавой столицы. Но сейчас же некоторая ирония вовсе не смирившегося перед ее огромностью и важностью сознания, и тогда вырывается это веселое и совсем не почтительное: черт возьми. И я уверен, что ничего не преувеличил. Так, именно так воззрел во мне плод первой художественной радости.

А море только вторило вдали, чужое, не сумевшее захватить все существо.

И тут ставлю точку, потому что о дальнейшей нашей длинной дороге ничего не упомянул. Разве что некоторым образом спутницу нашего путешествия, шляпную коробку с каучуковым белым вместилищем и служившую для совершенно других целей, чем сохранение в неприкосновенности чьего-нибудь цилиндра.

<Конец 1-й тетради>

25-е июля 1916 г. Заречье — Говезна.

Продолжено в Скоплье <Скопье>

весною 1929 г.

### Новосильцовы

Возвращаясь с Кавказа, мы заехали к нашим ближайшим родственникам, Новосильцовым, в их имение Пушино, верстах в четырех от Серпухова.

Это единственный раз, что я видел богатую подмосковную усадьбу.

Семья Новосильцовых жила тогда — все вместе: старик Евграф Иванович<sup>47</sup>, в кресле, разбитый параличом, его жена Наталия Ивановна<sup>48</sup>, урожденная Вырубова, дочь, уже престарелая дева, Елизавета Евграфовна<sup>49</sup>, и наконец сын, Иван Евграфович, женатый на родной сестре матери, Александре Петровне. У них тогда как будто бы было пятеро детей, а после прибавилось еще трое. Старшие — Сережа, на полгода моложе меня, и Наташа на два года. Затем совсем маленькие погодки: Саша, Кики, т. е. Екатерина, и Юрий, которого звали Гого<sup>50</sup>; но, может быть, как раз этих двух последних еще и не было на свете; во всяком случае, тот или та из них, кто уже родился, был в пеленках.

Старик Евграф Иванович — страшный и знаменитый. Говорили, что он декабрист. Во время восстания в 1825 году был уже полковником колонновожатых, т. е. Генерального штаба. Он уцелел, но, по-видимому, карьера его тогда же прервалась. Для нас, детей, эти слова — декабрист и полковник колонновожатых, — окруженные ореолом, так как было внушено уважать декабристов, как-то сочетались с его крутым нравом. Смуглый — признак Новосильцовых, с непоседевшими черными усами вниз и с пробритым подбородком, с выразительными черными, как угли, глазами, он казался нелюдью, пугалом, а мы еще слышали, что он не переносит нашу тетю Адю и будто раз запустил в нее костылем. Он с трудом говорил и для наших двоюродных сестер и братьев не знал другого выражения, как бесенята. Вероятно, оттого тетя Адя с детьми жила внизу, и меня только раз водили в парадные комнаты вверх. Только в тот вечер я видел старика. Он возглавлял длинный обеденный стол, вокруг которого сидело не менее двадцати человек, своих и гостей, а мы с матерью на противоположном конце от Евграфа Ивановича.

Наталя Ивановна была безответная и тихая с признаками очень правильных черт лица, но уже тогда сторбившаяся и глубокая старуха. Она ходила в платьях с пелеринами и воланами, напоминавших 30-е годы, и волосы были зачесаны густыми буклями, закрывавшими уши, а сзади возвышалась высокая прическа с гребнем. Она была в противоположность мужу совсем белая. Жила она неразлучно с дочерью, высокой, некрасивой, сутулой и с большими, болезненно выпученными глазами. Обе, по-видимому, были забитые грозным стариком существа. Но Елизавета Евграфовна, как мы увидим позднее, оказалась очень энергичным и хорошим человеком. Она была самая образованная в этом доме, говорила не только, как все остальные, по-французски и по-немецки, но и на прекрасном английском языке.

Не знаю, насколько хозяйкой, но, во всяком случае, самым самостоятельным и живым, знающим себе цену лицом в доме была тетя Адя, маленькая хорошенькая женщина с правильным профилем и немного тяжелыми — тоже дириинская особенность, — но не портившими ее щеками, маленьким капризным ротиком, а характером еще вдвое более вспыльчивым, чем у моей матери. И это в Дириных. В Дириных же и то, что она была заядлая лошадица. И понимала в лошадях, и сама ими правила не хуже любого самого отменного кучера. Разумеется, также и наездница. С особым почтением показывали нам на господской конюшне ее чистокровную лошадь. Детьми она занималась без позы, без особого старанья, но и без того пренебрежения, какое слишком часто, затвердив то, что было в XVIII в., приписывалось светским женщинам. Но дети были придача к ней; не она для них, и не они для нее; как все остальное, что ее касалось, должно было быть красиво, нарядно, вообще, не как-нибудь, а как следует, так и дети. Она была московская светская дама и этим гордилась: Новосильцова. Оттого считала, что за время своего замужества научилась не так, как у вас, мол, там, в Петербурге, говорят по-русски, а как в Москве Первопрестольной. Я, однако, никогда не замечал, чем отличался ее говор от нашего. Муж и дети [обычно], правда, выдавали себя и растянутостью речи и некоторым, однако, вовсе не преувеличенным характерным аканьем, и еще кое-какими выражениями, например: встрел вместо встретил.

Из своих детей всех больше любила тетя Адя старшего, Сережу.

Муж в ней души не чаял, и этим на нет сводилась неприязнь ее свекра. А если главным украшением и оттого главным лицом в Пущине была тетя Адя, то полным хозяином, все поставившим и организовавшим по-своему, был Иван Евграфович, для нас, детей — и как это могло быть иначе, среди московских родственников, — дядя Ваня.

Не знаю, можно ли себе вообразить более характерного московского барина, чем дядя Ваня? Одевался по-английски. Нечего и говорить, что никогда, даже на охоте, не надевал он какую-нибудь русскую поддевку, как «степные» помещики, т. е. те, чьи именья были южнее Тулы. В деревне с утра — серый, плотно облегающий талию, пиджак, широкие такие же панталоны, правильно падавшие на ярко начищенные сапоги (ботинок тогда еще не знали), отложной воротничок безукоризненно белой тонкой рубашки, менявшейся ежедневно, и твердый, узенький галстук бантиком. В таком виде он хозяйничал, и столярничал, и возился с ружьями и собаками. Лошадей не любил, зато был гимнаст и садовод. У него всегда в руках было какое-нибудь «аглицкое» приспособление. А силы и ловкости был такой, что сделать флаг, т. е. упершись одной рукой в ствол дерева, а другой за него захватившись, подняться и повиснуть во весь рост параллельно к земле на высоте плеча ему ничего не составляло. Наследственное же Пущино было предметом его бесконечных и разнообразнейших усовершенствований.

Подъезжая к барскому дому, еще никаких нововведений нельзя было увидеть.

Большой каменный трехэтажный дом, а перед ним круглый довольно запущенный палисадник, окруженный простым деревянным забором из торчащих коротких некрашенных и посеревших брусков. Этот палисадник надо было обогнуть, подъезжая к крыльцу. В нижнем этаже дома — молодые с детьми; во втором — парадные комнаты и старшее поколение; в верхнем — комнаты для приезжающих по обе стороны широкого, но довольно темного коридора. Ни о каких интересных или роскошных вещах — мебели или картинах — никогда не было речи; да диваны и кресла, всего вероятнее, как полагалось, были в чехлах. Подавало за столом два человека во фраках и белых перчатках, но сервировка — попросту и без претензий. Никаких украшений или цветов на столе. Ели, разумеется, на старинном, тяжелом серебре. Никелевых приборов тогда и не существовало, а о т<ак> н<азываемых> черенках не могло быть [и] речи. Тяжелые скатерти и салфетки домашнего тканья были делом слишком обыкновенным, чтобы кому-нибудь пришло в голову принять их за роскошь. Думается, и порядку в доме было не очень-то много. Сужу по такому эпизоду. Забежали мы как-то с Сережей в буфетную, внизу, неподалеку от детской. В углу оказалась куча мусора, и он привлек наше нарочитое внимание. Недолго думая, мы на эту кучу справили наши маленькие делишки и ничего. Куча была огромная. Не годы ли нарастала: и сошло совсем нормально, точно так и надо.

Зато, если дядя Ваня показывал хозяйство, все преображалось. Огромные скотные дворы согласно последним книжкам по скотоводству: отдельно племенные телки, начищенные, в стойлах, получившие на последней выставке в Москве золотые и серебряные медали; коровы широкоспинные, высокой молочности, с красивыми тирольскими рогами и колокольчиками на шеях. Чистота и свет. За ними ходили коровницы в белых передниках, а для быка, тоже получившего медаль, было отведено особое огороженное место в саду, и он был огромен и грозен. О чистоте и современном устройстве молочной что и говорить. Здесь объясняли, что такое парижское и что фленсбургское сливочное масло, показывали последнюю модель маслобойки и стол с толщенной доской светлого дуба, на котором отбивалось масло от пахтанья. Сепаратор в те времена еще не был изобретен, и поэтому существовала особая система полок в прохладном помещении, где отстаивались густые сливки на плоских крынках; их снимали большими, непременно деревянными ложками. Для получения же сметаны каждая крынка осторожно-осторожно переносилась в другую, теплую молочную и ставилась на полки, постепенно все выше, чтобы накис в два пальца толстый, сверху пожелтевший жирный слой. И если какая-либо крынка предназначалась к господскому столу для простокваши, также бережно ее отправляли на ледник, а оттуда уже прямо, поставленную на тарелку и обвитую подкрахмаленной салфеткой, чело-

век подавал каждому из сидевших за столом, чтобы тот взял по вкусу, кто больше, кто меньше сметаны.

Придя в молочную, разумеется, полагалось, смотря по времени ближе или дальше от часов дойки, испить парного или холодного молока с кусочком посоленного черного хлеба, из которого чуть торчали, для вкуса, отливавшие золотом мякинянки.

Молочное дело было священнодействием, неустанной заботой, требовавшей большого числа искусных рук и нежной внимательности.

От молочной на гумно и в сарай сельскохозяйственных машин: молотилка с конным приводом, жнейки, косилки, конные грабли, все это еще внове, интересное, ярко окрашенное, прибывшее из-за границы, и Иван Евграфович объяснял со всеми подробностями и, хотя был лицеист, обнаруживал самые точные сельскохозяйственные знания.

Полей я не видел. Ничего о них не слышал и позднее, уже в совершенно зрелом возрасте.

Может быть, и беру грех на душу, но мне представляется, что тут сказалась характерная особенность помещичьих хозяйств, сейчас после освобождения крестьян, и в особенности подмосковных. Усовершенствования, усилия по-новому начать дело, вообще смотреть на свои земли с деловой точки зрения, вводить улучшенный скот и сельскохозяйственные машины, начинались с усадьбы. Тут щеголяли нововведениями, а за околицей, в полях, запашка и посевы оставались прежними. За глазами, там, все шло еще по старинке. Я бы не удивился, если бы узнал каким-нибудь способом теперь, через шестьдесят лет, что в Пущине при Новосильцовых продолжали пахать сохами и где-нибудь стоял себе, как некогда, старый скотный двор с мелкими прежними коровками, которых держали для навоза, а распоряжался староста, относившийся с большим недоверием к затеям барина. Между тем уже десять лет протекло от освобождения крестьян, и Иван Евграфович имел бы время достигнуть более серьезных результатов.

Он уже не был тогда молодым человеком. Уже стал превращаться в лысину его пробор по середине, «по-аглицки», от которого в обе стороны спускались гладко-гладко причесанные двумя твердейшими щетками густые черные волосы, сзади, как тогда носили, коротко остриженные в скобку. Только что отпущенные усы и коротко остриженные баки с пробритым подбородком кое-где блестели сединой. Сам себя он считал опытным и в том, и в этом, в целом ряде областей. В земстве, правда, участия не принимал, а только состоял помощником Московского уездного предводителя дворянства, отчего, кстати сказать, и имел камер-юнкерский мундир. Это именно оттого, что смотрел на себя как на исключительно делового человека. Он весь отдался ведению дел своей семьи. Состояние было большое и разнообразное. Кроме Пущина, еще одно имение в Московской

губ<ернии>, земли в Нижегородской и Тверской, большой особняк в Москве с широким двором и садами, со всеми службами, как подобало барскому дому там, где сорок сороков. Но самое ценное — это две тысячи десятин чернозема в Херсонской губернии. Женившись, туда и уезжал Иван Евграфович с молодой женой, и разводил там овец в каком-то невероятном количестве. Однако неудачно; и в том-то и дело: те годы, когда мы заезжали в Пущино, были, увы, последние счастливые и богатые... Хотел, но не был деловым.

Суть в том, что Иван Евграфович был и весь деятельность, и весь любовь, причем, где кончалось одно и начиналось другое, нельзя определить.

Любил хозяйство и любил столярничать, любил дела и большой в них размах, любил ружейную охоту и любил образованность и порядочность, но больше всего любил семью и детей, причем та душевная канавка, которая отделяла его собственных детей от племянников, была очень неглубока. И дети его любили, и с ним было всегда совсем по себе детям всякого возраста, потому что сам он был, правда, большой — милый ребенок. И оттого-то всех, с кем он имел дело — от товарищей по лицу и бывших крепостных, до, увы, не только сослуживцев, но строго деловых людей, — от всех он тоже ждал к себе любовного отношения. Разумеется, по закону о взаимной симпатии и у очень многих вызывал любовь, но в то же время какая могла быть деловитость у человека с такой детски открытой душой?

Да, ребенок, но не только хороший, но и образованный. Он много читал, даже вплоть до Карла Маркса, и вкусы его были не заурядны. Вот одна маленькая подробность, касающаяся дома в Пущине, которая меня тогда поразила и оттого никогда не изгладилась из памяти.

Раз как-то взял меня Иван Евграфович наверх в коридор третьего этажа показать, чем он был обклеен вместо обоев.

— Это лубочные картинки. Видишь Ивана Царевича и Серого Волка?

И я действительно узнал Серого Волка, на котором мчались Иван Царевич с Царевной.

Что такое — закоренились в сознании лубочные картинки? Почему лубочные? Почему они должны представлять интерес? А мне как-то понравилось, и понравилась и самая мысль их собрать и ими убрать стены. Но в ту пору это было очень своеобразно, эта любовь к броской, совсем не прославленной, забытой старине, на которую и долго спустя продолжали смотреть с пренебрежением.

А мы увидим дальше, что интерес к т<ак> наз<ываемому> кустарству в его самом изоощренном проявлении будет иметь одного из своих первых пионеров, члена семейства Новосильцовых, в лице той некрасивой и затихшей старой девы, которая лишь в новых условиях жизни, когда рухнуло барство, проявит свои дарования, т. е. в лице Елизаветы Евграфовны, сердечного, вдумчивого, прекрасного человека.

## Мы, дети

В обеих семьях, составлявших ту среду, что всхолила мое детство, т. е. в нашей семье и в семье Новосильцовых, старое воспитание времен Николая Павловича в душных, не знающих никакой гигиены детских, да еще в придачу с неизбежной розгой, ушло в прошлое. Оно было заменено тем либерализмом, какой вычитывался из педагогических статей Добролюбова и вообще из «хороших книжек» 60-х годов. И моя мать, и ее сестра получили весьма поверхностное домашнее образование. Ни та, ни другая не были ни «синие чулки», ни интеллигентки. Далеко нет. Но, вероятно, через общение с мужьями, а также благодаря общему подъему гуманности и образованности, охватившему всю первую половину царствования Александра II, через наших матерей и мы с братом, и Новосильцовы детьми уже целиком принадлежали новой эпохе. Никто из нас никогда не поцеловал руку своему отцу, и мы говорили родителям — ты; мы не испытали ни страха, ни унижений, ни лжи, ни забитости.

От старого оставалось, в сущности, только обязательное знание иностранных языков с самого раннего возраста и благовоспитанность.

Тот осадок горечи, какой оставило на мне детство, кроме причин, лежавших только во мне самом, был, однако, вызван одной особенностью моего воспитания, свойственной, мне кажется, и самой передовой, современной педагогике. Воспитание не может не приходиться в столкновение с произволом личности ребенка. Тут неизбежная борьба. Отсутствие ее есть внутреннее противоречие, так как задача воспитания — внушать общепринятые понятия и приучать к общепринятым состояниям сознания либо данной среды, класса, сословия, либо по тому, что в данной среде, классе, сословии принято признавать нормативным для всего человечества. Но можно бережно отнестись к личности, даже когда ее светоч еще едва брезжит. Особенно чуткие родители, а может быть, и наставники, умеют ее разглядеть и понять. Чаше же всего, увы — полное пренебрежение к ней или, еще хуже, самое фантастическое, ничего не имеющее общего с действительностью о ней представление. А ведь какая-то томительная безнадежность в сознании, что ты просто мальчик, такой же, как все остальные, и единственное твое отличие от других в том, что ты толстый и зовут тебя Женя. Тогда невольно тянет к самокритике, к копанию в себе, и отсюда непременно горькое чувство виноватости. Оно меня так никогда и не оставило. Какой же ты мальчик? — невольно спрашивал я себя, и ответ всегда получался: дурной мальчик.

Хорошим считался, разумеется, Сережа, любимчик. Он, вероятно, был и послушнее. Его ставили в пример. Вот он хороший?

Так ли это? Один раз Сережа рассердился на гувернантку-немку и сказал ей:

— Ich werde Mama klagen, und Mama wird sie verjagen <Я буду жаловаться маме, и мама выгонит ее>, — и несколько ему не досталось за это.

Меня же всего перевернуло. И, значит, впечатление было сильное, если запомнилось на всю жизнь. Показалось и глупо, и грубо, а главное, как неделикатно подчеркивать, что гувернантка находится на службе и ее могут рассчитать, как горничную. Тогда же обнаружилось, что хваленый Сережа совсем не умный мальчик. Его маленькая сестра, Наташа, никогда бы не сказала такой вещи. Значит, не все дети одинаковы, и не только взрослые отличаются друг от друга целым множеством особенностей, и бывают смешные, симпатичные, злые, интересные... Во всяком случае, мальчики и девочки делятся на умных и глупых, и только вот эти последние не понимают, что такое деликатность.

Ольги Павловны как будто бы в Пущине с нами не было, и, значит, все мы были под надзором вот этой толстой немки, уже немолодой и совершенно безличной.

Все дни мы проводили в большом саду, отлично содержанном и спускавшемся от самого дома, с противоположной стороны — той, где крыльцо и запущенный палисадник, до самой реки Нары. Если стоять к дому спиной, то направо сад переходит в расчищенную березовую рощу, Андреевку, отделявшую владения Новосильцовых от Коншинских фабрик<sup>51</sup>.

Никакие спортивные игры, в особенности же такие, в которых принимали бы участие и взрослые, тогда не были в ходу. Даже жалкий, обязательный немного позже во всех усадьбах и на дачах крокет до России еще не дошел. Купаться на Наре нас тоже не водили. Мы просиживали часами на какой-нибудь полянке сада, под тенью дерева, и в чем состояли наши развлечения, не помню. Ну, конечно, бегали, смеялись, догоняли друг друга, кувыркались и лазили на дерево, но все это оставляло много времени для самой пустой и незамысловатой болтовни. Событием была только более далекая прогулка в Андреевку. Яркие блестящие здесь своей белой корой достигшие полного роста березы, и роща казалась уходящей так далеко-далеко. Радостью веяло в Андреевке. И пролетали день за днем незаметно, беззаботно, не то что весело, а, главное, скоро.

Новосильцовы любили животных, и это меня позднее с ними особенно сближало. Однако в Пущине не было таких, которые, как у нас, как бы считались членами семьи. Там на господской конюшне особым почетом пользовались только два старых, серых в яблоках рысака, Хапун и Соперник, московские выездные лошади. Кроме них и верховой лошади тети Ади стояла только пущинская разгонная четверка, на которую принято было смотреть лишь как на способ передвижения. Оттого я не могу их перечислить по именам. Правда, у Сережи была своя собственная очень маленькая понька, Крошка. Но вот эпизод, показывающий, что она не могла вызывать к себе наших детских симпатий. Она была презлющая, с норовом, плохо обьезженная.

Только раз мы должны были отправиться на ней покататься. Ее запрягли в беговые дрожки. Сережа сел впереди, править, я сзади. Но, очевидно, дело было не

так-то просто, потому что нас должен был сопровождать молодой кучер верхом. Он держал конец вожжи, застегнутой с одной стороны удил Крошки. Какая была у меня в этих делах опытность, уж не знаю, но сразу мне показалось: какой толк может быть от этой единственной вожжи. Зачем она? И в самом деле. Только мы как-то выехали, миновав круглый палисадник за ворота, на дорогу, обсаженную высокими березами, Крошка возьми да бросься в противоположную сторону от верхового. Завезла в канаву, дрожки опрокинулись, мы полетели, а Сереже еще и ушибло ногу, и ему потом прикладывали примочки тогдашнего универсального в таких случаях средства: арники. Этим закончилась единственная попытка проехаться на Крошке. Больше о ней не было больше речи.

Не показателен ли и этот случай для большой барской усадьбы, где все было как-то растяписто, точно не на самом деле, точно не всерьез?..

И катастрофа надвигалась...

### Примечания

- <sup>1</sup> Столыпина Наталья Михайловна (урожд. Горчакова) (1827–1889) — княжна Горчакова, фрейлина императорского двора, замужем за Аркадием Дмитриевичем Столыпиным, мать будущего реформатора Петра Аркадьевича Столыпина. Во время Русско-турецкой войны (1877–1878) была сестрой милосердия, награждена бронзовой медалью «Знак милосердия».
- <sup>2</sup> Аничкова Анна Митрофановна (урожд. Авинова) (1868–1935) — писательница, переводчица, писала под псевдонимом Иван Странник. Замужем за Евгением Васильевичем Аничковым. До революции 1917 г. супружеская пара подолгу жила в Париже, где А. М. Аничкова содержала литературный салон, в котором часто бывали А. Франс, М. Горький и др. В Советской России Анна Митрофановна жила частными уроками и преподаванием иностранных языков.
- <sup>3</sup> Шамиль (1797–1871) — предводитель кавказских горцев, в 1834 г. был признан имамом теократического государства — Северо-Кавказского имамата. В 1840-х гг. одержал ряд побед над русскими имперскими войсками, включая и победу в Даргинском походе имперских войск 1845 г. В 1859 г. сдался в плен, ему и его семье была отведена для жительства Калуга. На Западном Кавказе война после этого продолжалась еще пять лет.
- <sup>4</sup> Кероглы — крепость Коджори или замок Короглы (XVIII–IX вв.), сегодня входит в состав Тбилиси. Крепость Коджори до XV в. называлась Агарани, названия Кероглы и Каджори закрепились с XVIII в. Долгое время крепость считалась обителью грузинских царей.
- <sup>5</sup> «Journal pour rire» — учрежденный Шарлем Филипоном журнал выходил в 1848–1855 гг. В 1856 г. его сменили «Le Journal amusant» <<Журнал для развлечения>> (1856–1933) и «Le Petit Journal pour rire» <<Малый смеховой журнал>> (1856–1900).
- <sup>6</sup> Святополк-Мирский Дмитрий Иванович (1825–1899) — князь, генерал, участник Кавказских походов, Крымской войны, Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Во время Русско-турецкой войны состоял при главнокомандующем Кавказской армией, в 1879 г. был награжден орденом Св. Владимира 1-й степени с мечами, в 1880 г. был назначен членом Государственного совета.
- <sup>7</sup> Аничков Василий Иванович (1838–1881) — подполковник, член Кавказского, затем Виленского военно-окружного суда, актер-любитель.
- <sup>8</sup> Аничков Иван Васильевич (1800–1961) — полковник лейб-гвардии.
- <sup>9</sup> Дирин Петр Николаевич (до 1810 — 1905) — поручик Лейб-гвардии Семеновского полка, генерал-майор. Автор краткой полковой истории (Краткая история Лейб-гвардии Семеновского полка, 1883).
- <sup>10</sup> Аничкова Ольга Петровна (урожд. Дирина) (1840-е — ?) — жена Василия Ивановича Аничкова, мать Ивана Васильевича и Евгения Васильевича Аничковых.
- <sup>11</sup> Танеев Сергей Александрович (1821–1889) — высокопоставленный чиновник, дипломат, действительный тайный советник. Трюродный брат композитора Сергея Ивановича Танеева.

- <sup>12</sup> Дом Аничкова на Садовой улице в Санкт-Петербурге (адрес: Садовая, д. 48) принадлежал полковнику лейб-гвардии Ивану Васильевичу Аничкову (1800–1862), деду Евгения Васильевича. Дом был построен в 1836 г. по плану архитектора Федора Брауна на месте деревянных построек и принадлежал семье Аничковых до 1870 г.
- <sup>13</sup> Никаких данных касательно Новосильцовой Александры Петровны (урожд. Дириной) обнаружить не удалось.
- <sup>14</sup> Новосильцов Иван Евграфович (? — 1904) — камер-юнкер, сын Евграфа Ивановича Новосильцева.
- <sup>15</sup> Романов Михаил Николаевич (1832–1909) — великий князь, четвертый и последний сын императора Николая I и его супруги Александры Федоровны, военачальник и государственный деятель, генерал-фельдмаршал (1878), председатель Государственного совета (1881–1905).
- <sup>16</sup> Святополк-Мирский Николай Иванович (1833–1898) — князь, военачальник Российской Империи, генерал от кавалерии. С 1853 г. участвовал в военных действиях во время Крымской войны, в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг., отличился в сражениях под Плевной и на Шипке, а также организацией перехода через Балканы, на помощь корпусу генерала Ф. Ф. Радецкого. Вторым браком был женат на Клеопатре Михайловне Ханыковой, дочери полковника Михаила Николаевича Ханыкова и Софьи Васильевны Энгельгардт, от которой имел семь сыновей.
- <sup>17</sup> Святополк-Мирская Клеопатра Михайловна (настоящее имя Капитолина; урожд. Хныкова) (1845–1910) — кавалерственная дама ордена Св. Екатерины 2 ст., дочь полковника Михаила Николаевича Ханыкова и Софьи Васильевны Энгельгардт, жена князя Николая Ивановича Святополк-Мирского.
- <sup>18</sup> Николаи Александр Павлович (1821–1899, Лачино, Тифлисская губерния) — барон, государственный деятель Российской империи, действительный тайный советник (с 1873), член Государственного совета (с 1875), министр народного просвещения (1881–1882). Службу начинал в канцелярии кавказского наместника князя М. С. Воронцова. Женат на княжне Софье Александровне Чавчавадзе, дочери поэта, генерала, князя Александра Гарсевановича Чавчавадзе (1786–1846). У них была дочь Мария (Мака) Александровна Николаи.
- <sup>19</sup> Ошибка памяти мемуариста. Дочь барона Николаи Мария (Мака) Александровна Николаи (1859–1919) была замужем за князем Георгием Дмитриевичем Шервашидзе (1847–1918), бывшим губернатором Тифлиса в 1889–1897 гг.
- <sup>20</sup> Сутгоф Александр Николаевич (1800–1874) — генерал от инфантерии, директор Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, член Военного совета и инспектор военно-учебных заведений. Участвовал в походе 1828 г. в Турцию и в военных действиях 1831 г. против восставших поляков.
- <sup>21</sup> Аничкова Александра Александровна (1835–1883) — дочь генерала Александра Николаевича Сутгофа, замужем за Иваном Дмитриевичем Аничковым.
- <sup>22</sup> Аничков Иван Дмитриевич (1829–1907) — сын Дмитрия Васильевича и Анны Ивановны Аничковых, женат на Александре Александровне Сутгоф.
- <sup>23</sup> Философов Дмитрий Александрович (1861–1907) — государственный деятель, член Государственного совета (с 1906), министр торговли и промышленности (с 1906).
- <sup>24</sup> Фон Баранов Карл Петрович (1842 — ?) — генерал-майор с 1887 г.
- <sup>25</sup> Фон Баранов Петр Петрович (нем. Peter Paul Alexander von Baranoff, 1843–1924) — из эстляндских дворян, русский военачальник, генерал от кавалерии. Участвовал в подавлении Польского восстания 1863 г. и в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Был управляющим (1898–1902), а затем гофмейстером (1902–1910) Двора великого князя Михаила Николаевича Романова. С 1910 г. генерал-адъютант.
- <sup>26</sup> Баранова Ольга Валериановна (урожд. Бибикова) (1846–1933) — дочь Валериана Александровича Бибикова и Елизаветы Андреевны Линквист-Белей, замужем за Петром Петровичем Барановым.
- <sup>27</sup> Ореус Михаил Федорович (1842–1920) — генерал от артиллерии, командир гвардейской конной артиллерии и Гренадерского корпуса, член Александровского комитета о раненых. В 1871 г. Ореус был назначен для особых поручений при Главнокомандующем Кавказской армией великом князе Михаиле Николаевиче Романове. Принимал участие в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.
- <sup>28</sup> Ореус Иван Иванович (1830–1909) — генерал от инфантерии, военный историк. В 1863 г. назначен начальником Военно-исторического и топографического архива, в 1866 г. переименованного в Военно-ученный архив. На этой должности оставался более 40 лет. Женат на Елизавете Аничковой, от которой имел сына — поэта Ивана Ореуса, писавшего под псевдонимом Коневской, утонувшего в 1901 г.
- <sup>29</sup> Аничкова Елизавета Ивановна (1839–1891) — дочь полковника Ивана Васильевича Аничкова и Натальи Дмитриевны Барыковой, замужем за Иваном Ивановичем Ореусом.
- <sup>30</sup> Цулукидзе Нина Асламовна (1863–1906) — княжна, первым браком замужем за Коваленским Сергеем Григорьевичем, вторым за бароном Александром Феликсовичем фон Мейендорфом.
- <sup>31</sup> Коваленский Сергей Григорьевич (1862–1909) — государственный деятель, сенатор, тайный советник, директор Департамента полиции в 1905 г. Покончил с собой. Был женат дважды — на Нине Асламовне Цулукидзе и на Марии Андреевне Верецагиной.

- <sup>32</sup> Фон Мейендорф Александр Феликсович (1869–1964) — барон, сын барона Феликса фон Мейендорфа и Ольги Михайловны фон Мейендорф, внук командующего времен Крымской войны князя Михаила Дмитриевича Горчакова, двоюродный брат Петра Аркадьевича Столыпина. Юрист и политический деятель, избирался в III и IV Государственную думу. В 1907–1909 гг. — товарищ председателя Государственной думы. Первым браком был женат на Нине Асламовне Цулукидзе, вторым на Варваре Михайловне Цулукидзе.
- <sup>33</sup> Ошибка памяти мемуариста. Речь идет об Оголине Александре Степановиче (1821–1911) — государственном деятеле, витебском и кутаисском губернаторе, сенаторе, действительном тайном советнике.
- <sup>34</sup> Ридигер Александр Николаевич (1838–1910) — генерал от инфантерии, член Военного совета, герой Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
- <sup>35</sup> Дидрихс Адам Вильгельмович (?–?) — военный врач.
- <sup>36</sup> Фон Галлер Иван Владимирович (?–?) — государственный деятель, генерал-майор, гродненский и виленский губернатор.
- <sup>37</sup> Бабст Александр Кондратьевич (?–?) — военный юрист, судья Московского военно-окружного суда, генерал-майор, старший брат Ивана Кондратьевича Бабста (1823–1881) — историка, экономиста, профессора Московского университета.
- <sup>38</sup> Никаких данных касательно Тимашева обнаружить не удалось.
- <sup>39</sup> «Колокол» — русская революционная газета, издававшаяся А. И. Герценом и Н. П. Огаревым в эмиграции в 1857–1867 гг.
- <sup>40</sup> Польское восстание — восстание 1863–1864 гг. на землях бывшей Речи Посполитой, отошедших к Российской империи.
- <sup>41</sup> Франко-прусская война — война 1870–1871 гг. между империей Наполеона III и германскими государствами во главе с Пруссией. Закончена поражением Франции и созданием единой Германской империи.
- <sup>42</sup> Имеется в виду невыгодный для России Парижский мирный договор, который в 1856 г. подписали Россия, с одной стороны, и союзники по Крымской войне (Османская империя, Британская империя, Франция, Австрия, Сардиния, Пруссия) — с другой.
- <sup>43</sup> «Милютинские войска» — реформа Дмитрия Алексеевича Милютина (1816–1912), назначенного императором Александром II военным министром России в 1861 г. Коснулась преобразования военно-административного деления, воинской повинности, системы военного образования, военной формы. Здесь речь идет об изменении в обмундировании войск.
- <sup>44</sup> Пехотный Гурийский полк — 159-й пехотный Гурийский полк, существовал в 1863–1918 гг. Во время войны с Турцией в 1877 г. вошел в состав Кавказского корпуса, сражался на Аладжинских высотах, принимал участие в блокаде Карса и Эрзерума.
- <sup>45</sup> Никаких данных касательно генерала Кишмиш обнаружить не удалось.
- <sup>46</sup> «Чайный цветок» — оперетта Шарля Лекока (1868).
- <sup>47</sup> Новосильцов Евграф Иванович (1809–1870) — поручик, помещик, владелец вотчины под названием Троекуровщина.
- <sup>48</sup> Новосильцова Наталия Ивановна (урожд. Вырубова) (1810 — ?) — дочь Ивана Петровича и Елизаветы Петровны Вырубовых, замужем за Евграфом Ивановичем Новосильцовым.
- <sup>49</sup> Новосильцова Елизавета Евграфовна — сведений обнаружить не удалось.
- <sup>50</sup> Никаких данных касательно детей Евграфа Ивановича Новосильцова и Наталии Ивановны Вырубовой обнаружить не удалось.
- <sup>51</sup> Коншинские фабрики — фабрики Николая Николаевича Коншина (1833–1918), предводителя дворянства, благотворителя, генерального консула королевства Сербии и княжества Болгарии, купца первой гильдии, основателя торгового дома «Николая Коншина сыновья» и «Товарищества мануфактур Н. Н. Коншин в г. Серпухов». На предприятии работало более 11 тысяч рабочих.

DOI 10.17323/2658-5413-2020-3-1-224-277

## ГЛАВА II

### Виленское пятилетие

*Детское томление. — На Жданых. — Новая окраина. — Цивилизация и женский монастырь. — Вильна — маленький город. — Знакомые и друзья. — Обстановка и нравы. — Мои игры. — Три гувернера. — Мальчик с катка. — 13-я Кавалерийская дивизия. — Брат и я, турки и славяне.*

Закончилось первое пятилетие моей жизни, и будто тогда родилось это таинственное внутреннее, принадлежащее только самому себе, от всех, даже самых близких обособленное я.

Да, до сих пор рассказывал кто-то, мне, в сущности, чужой и о каком-то чужом мальчике. И вот он остался там, далеко, на Кавказе. Все, что было дальше и что я буду теперь рассказывать, это уже я сам и духовно и во плоти, и я чувствую до сих пор, что это я, тот самый старший профессор, заброшенный в город Скопье <Скопье>, о существовании которого никогда не подозревал.

#### Детское томление

Я не люблю своего детства.

Оно тянулось несуразно, томительно, точно отбывалась какая-то повинность. Не то чтобы я торопился стать взрослым, зажить, высвободиться. Этого не было. Но никогда потом я не мог вспомнить ни одного эпизода из моего детства, окрашенного для меня светлым. Нет. Что-то всегда давило, даже тогда, когда прояснялся в памяти какой-нибудь отдельный, по существу радостный эпизод. Игры? Они всегда оставляли во мне осадок неудовлетворенности. Как будто думалось: не глупо ли? Да из них я, строго говоря, очень мало что помню.

Мне кажется, что я не пережил ни одной минуты, когда бы я не чувствовал себя виноватым. В чем? Виноватым за то, что я вот такой толстый, ленивый и, твердо верилось, ничего хорошего из себя не представляющий мальчик. В конце концов: дрянной, некрасивый, неуклюжий мальчишка, которому решительно ничего настоящего никогда и не предстоит. Мальчик с книжкой стал фикцией: пустяки, не стоит об этом думать.

Однако то первое разочарование в себе — а сколько их было после, всю жизнь, — разочарование, обнаружившее неспособность, гнетущую меня и до сих пор, до старости, вовсе не оставило по себе какого-нибудь большого чувства.

Первое разочарование — я не говорю о моей невзрачной наружности — это моя полная немзыкальность. Меня, конечно, учили играть на фортепиано,

и у нас всегда оно составляло часть полагавшейся мебелировки, хотя мать моя очень редко когда за него сядет. Но я не делал никаких успехов и приписывал это, как и мои родители, просто лени. И вот однажды, возвратясь из Риги с сессии военного суда, отец привез детскую виолончель. Нашли виолончелиста, какого-то невзрачного старика, и пошли уроки. Тянулись месяцы, а я все никак не мог справиться с первыми тактами «Чижика»<sup>1</sup>. При этом я узнал, что другой мальчик, начавший учиться одновременно со мной, давным-давно уже овладел инструментом. Тогда меня оставили в покое. Почему? Оказалось, что нет слуха.

Уж не буду сейчас вередить это больное место своего сознания. Да, смешно и глупо. Я очень люблю музыку и особенно серьезную, запоминаю, чувство ритма у меня совершенно нормальное, но что такое верная и что фальшивая нота, осталось навсегда недоступной для меня тайной. Калека.

Когда прекратились уроки на виолончели, разумеется, было стыдно. Вот тут уже совсем острое ощущение виноватости, но оно все-таки было тупо. Именно тупо: ну вот, обнаружилось что-то отвратительное, а зареветь, даже в самом деле огорчиться, не смог. Эту неспособность зареветь я и зову тупостью, а она — следствие наболевшего чувства виноватости, никчемности, отсутствия самого права на что-то блестящее, действительно захватывающее, возвышающее в глазах других. Да, томление. Даже, может быть, хуже. Я часто замечал у испытавших много горя старух такое остановившееся выражение глаз, которое уже не делает им больше никакой возможности отразить новое несчастье. Если бы детские глаза были бы зеркалом души, мои тоже были бы потухшими. Да ведь стоит и посмотреть на мои карточки детского возраста — на них всегда я имел вид какой-то сонный.

Гувернер-немец, Шёве, когда сердился, говорил:

— Толстый такой, противен такой, в угол с тобой.

И я шел в угол, уверенный в том, что не только уродливо и постыдно толст, но именно противен. Ну, разумеется: калека! И думалось: отчего говорят, что горбатые всегда злы, потому что они калеки, вот я калека, а я не злой?

### На Жданих

Погостив в Пущине, мы с матерью направились в наше наследственное, родное гнездо, на Ждани, в семи верстах от Борович.

Сколько ни напрягаюсь, странно, не могу восстановить, каково было мое первое впечатление, когда, сделав около шестидесяти верст на лошадях от станции Валдейки, мы въехали к себе домой. По всему выходит, что в хоть сколько-нибудь сознательном возрасте я видел Ждани в первый раз. Мне не было шести лет, два года мы провели на Кавказе. Неужели же трех-четырёхлетний ребенок может настолько запомнить расположение усадьбы и самый дом, что, вернувшись после двух лет, проведенных там, далеко, в такой новой и своеобразной

стране, как Кавказ, ему все покажется знакомым? А ведь, по-видимому, нет сомнений. Отчего иначе дом в Пущине стоит перед глазами так ясно, точно это было вчера, именно таким, каким я его увидел впервые, а от жданского дома впечатление стерлось? Или я никогда и не мог в первый раз увидеть Ждани, совсем в такой же момент, как и свои руки и ноги, потому что и руки, и ноги часть меня самого, а Ждани тоже часть, не что-то внешнее, сколько бы оно ни было родным, а именно что-то телесно связанное со мною самим. И вот теперь, когда я пишу эти строки, мне так ясно и несомненно, что я калека, инвалид, безрукий или вообще лишенный какой-то части самого себя, потому что нет больше у меня Жданей. Дело вовсе не в собственности, а в сродстве, в некоем едином целом, развалившемся теперь на отдельные куски, один на недосыгаемом берегу Мсты-реки, а другой тут, на Вардаре<sup>2</sup>, уже и не человек или, вернее, не я, а только сохранившийся от меня обломок.

И были особые обстоятельства, вследствие которых тогда же сразу это чувство сродства должно было обнаружиться или лучше действительно враспи раз навсегда.

Пока отец служил на Кавказе, он поручил свои дела по Жданям мужу своей младшей сестры Александры Ивановны<sup>3</sup>, Николаю Григорьевичу Дьяконову<sup>4</sup>, только что вышедшему из Преображенского полка. Дел наших Николай Григорьевич как будто не усовершенствовал, и напротив, что же касается жданской усадьбы, то она поступила в пользование обеих младших сестер отца, Александры и Елизаветы, очень дружеских между собой и, вероятно, с великой радостью проводивших вместе два лета в своем родном гнезде. Обе они души не чаяли в маленькой дочке Елизаветы Ивановны, жены Ивана Ивановича Ореуса. Девочка очень скоро, чуть не тогда скончалась, а она была единственная. Ее звали Маруся. И вот она-то и была первым лицом на Жданях за время нашего отсутствия.

Сразу почувствовалось ее недавнее присутствие. Особое это было чувство. Отнюдь не ревность. Может быть, даже и на нас с братом отразилось то пламенное чувство, какое это маленькое существо сумело к себе возбудить. Говорили, что она была очень хорошенькая. В мать. И фотографии это подтверждали. Но ведь, чтобы вещь стала особенно дорога, когда она нравится, не достаточно ли ее на время отнять. Вот так было и со Жданями: раньше здесь была хорошенькая девочка, наша двоюродная сестра, а теперь вот мы приехали. Не надо отнимать своих игрушек, когда другие дети хотят ими поиграть. Это очень дурно. А все-таки приятно получить обратно.

Вот так.

И срослось на всю жизнь, срослось и духовно, и телесно мое сознание со Жданями. Каждый уголок в саду, в усадьбе, на конюшне, каждое деревцо, лощинки и канавки далеко от усадьбы, и в полях, и даже на Высоких, и за рекой стали

как бы частью своего собственного тела. Все это и жило, и болело, и радовало. Вон там повыше острова торчит в мелководье огромный камень, а островок, за которым, не умолкая, журчит порог, каждое лето менял форму и продолжался вниз по течению длинной отмелью нижнего песка. Мста, родная Мста, на которой стоит усадьба, она тут тоже родная и своя. Но никакого и тогда, когда я сам стал хозяином Жданей, не было чувства собственности: мои — Ждани. Даже подумать так мне до старости казалось святотатством, разве что — наши, т. е. всех нас Аничковых. Но в том-то и дело, что привязанность к своему родовому гнезду совершенно другое. Не Ждани — наши, а мы им принадлежим. Мы ихние. Они владеют. Что мы без них? И ведь деревенские жители: и помощники, и крестьяне понимают это, потому что во всех них — тоже своеобразное, совсем ни с чем не сравнимое чувство. Оттого ведь нас всегда звали вовсе не Аничковы — Аничковы есть разные, несколько семей, — а именно жданские: жданские господа, такая же принадлежность Жданей. Жданская тройка, жданский конь, жданская глина.

Да, с этого первого уже сознательного пребывания на Жданях, на всю жизнь, а после и вся моя семья, все мои стали жданские.

Тем обиднее было и мне и брату, когда мы узнали, что ни тот ни другой мы не родились на Жданях. Брат в Петербурге, а я на т<ак> наз<ываемой> Протопоповской даче около Борович, где поселились мои родители, пока отстраивался на Жданях после пожара новый дом. Пожар этот — событие, о котором еще будет сказано.

Но мы только наезжали на Ждани по летам, а жили в Вильне.

### Новая окраина

Может быть, это свойственно не только русским детям, но и вообще русским людям. Когда судьба перекидывает их из одной части нашей необозримой родины в другую, они очень быстро, как бы походя, без всякого нарочитого напряжения, приспособляются к новому климату, новой природе, новому народу или племени. Все это совершенно не удивляет. Да, по-другому жил в центре России или на той или иной другой окраине, но это просто в порядке вещей. Вероятно, от этого мои воспоминания о Вильне носят самый узкосемейный характер.

И в той среде, в которой вращались мои родители, по-видимому, о крае, о Вильне, о литовцах, евреях, поляках, белорусах если и говорили, то очень вскользь. То, что я запомнил — а ведь мы жили там целых пять лет, — носит какой-то справочный характер. Да, Вильна прежде всего еврейский город, и евреи бедны и грязны. У них особая улица: Немецкая. Они лавочники или ремесленники. Существуют еще факторы, через которых можно достать все, что угодно. К нам ходила факторша Рахиль и предлагала разные товары, главный интерес

которых составляло то, что они — контрабанда, и поэтому продаются дешевле, чем в магазинах. Народ, т. е. окружающие Вильну крестьяне — жмудяки. На этом очень настаивали. Не просто литовцы, а жмудяки. Есть и особые не то русские, не то поляки, и их не разберешь, потому что на вопрос, кто они такие, они отвечают одно из двух, или — православный, или — католик. Поляки, конечно, особое дело. Не могло не сохраниться еще живых воспоминаний о 63-м годе. Но я не слышал, чтобы о поляках говорили с ожесточением. Правда, помню смутные рассказы о каких-то «жандармах-вешателях», некой тайной организации против русских. Однако и это скорее с сожалением. И когда много лет позднее я узнал, что писали о Западном крае Батюшков и Юрий Самарин, то не было сомнений: да, восстание делала шляхта, т. е. исключительно одно определенное польское сословие, а народ остался в стороне, тем более что народ-то вовсе не поляки; такое мнение мне оказалось очень хорошо знакомым.

Памятника Муравьеву-вешателю<sup>5</sup> тогда в Вильне еще не стояло. И не только восторженных, но и одобрительных отзывов о нем я не упомяну. Времена были Александра II, а не Александра III.

Итак, поляки, литовцы, евреи, белорусы, католики и православные — сами по себе, а мы, русские, отдельно, пришлые, делающие свое служебное дело и живущие по-своему, не задираясь, но в полнейшей убежденности, что Вильна — город Государства Российского. В те времена сомнений о том не было и в самом местном населении. Да были ли они тогда и среди поляков?! Если и были, то они или оттуда, из самой Польши, даже из зарубежья, из Кракова.

Только все-таки вот один молодой человек, которого ориентацию, как теперь стали говорить, я и до сих пор не понимаю, но она была какая-то местная.

Первых наших квартир в Вильне, пока мы еще не устроились и не появилась обстановка, было две: одна где-то на Антоколе, с садом, дача, а другая, напротив, в самом центре города, на большой широкой улице, которая ведет к Остробраме.

На этих квартирах мы себя с братом впервые ощутили мальчиками, которых надо учить. Брату настало время готовиться в гимназию. Ольга Павловна Кованько с нами в Вильне побывала недолго и вышла замуж за какого-то бородатого господина, чиновника в городке около Вильны. Мы у них были один раз в гостях. Маленькая скромная квартирка. Жаль нам почему-то стало Ольгу Павловну: и муж невзрачный, и живут убого. Больше мы ее никогда не видели. [И вот] начались поиски за воспитателями и учителями. Одно время при мне дядькой состоял бывший артиллерийский фейерверкер. Бравый был, но еще чуть усики закручивались, а он наводил страх, когда проходил по казармам. Мне он совсем не казался грозным.

Среди поисков за наставниками и появился очень молодой человек, что-то такое странное окончивший, и ему и предстояло готовить брата в гимназию. С этой целью, когда подоспело лето, он ездил с нами на Ждани.

И вот в Вильне на вокзале он явился в таком виде, что все поразились. На нем было какое-то тяжелое пальто полувоенного покроя из местного домашнего серого сукна, как ходили литовские крестьяне, и о ужас! — это еще что такое? — на голове высокий кожаный кивер с фуражечным козырьком, вроде казачьего. Так он и щеголял на Ждани, а когда садился на одну из деревенских лошадок, на которых мы все гарцевали, то очень лихо подбоченивался: казак, да и только. И таким он себя, по-видимому, и ощущал. Но отнюдь не казаком с Дона, а каким-то таким особенным, даже, всего невероятнее, вовсе не потомком запорожцев; Тарас Бульба тут оставался ни при чем. Он был пламенный белорус. Значит, была же такого своего рода ориентация. Как будто белорусский гайдамак, не хуже шевченковских! Были ли такие? Но, очевидно, он что-то в этом роде или знал, или думал. Славный, веселый был молодой человек. Впрочем, почти мальчик. И сошелся не только с нами, но и с моими двоюродными братьями Козиными<sup>6</sup>, о которых еще будет речь, пажами, на несколько лет старшими моего брата. Кавалькады под его воинственным предводительством и происходили в числе всех нас четырех, т. е. белорусского гайдамака, Мити, Козиных и нас с братом. Кажется, он даже раздобыл какое-то казачье седло для полноты картины.

Другой также местный молодой человек, учивший моего брата, был совершенно другого склада, не романтик, а, по-видимому, интеллигент писаревского направления. Его звали Карпинский. Преподавал он, как и полагается позитивисту, арифметику.

Раз как-то он был в спальне матери, а там всегда стояла резная красного дерева на точеных ножках божница. Карпинский посмотрел и неожиданно для всех изрек своим шибко шепелявым произношением:

— Совершенно лишняя обуза.

При этом *с* и *з*, разумеется, выходили вроде английского *th*. Огромный успех имел Карпинский этой мудрой фразой. Навсегда стала знаменита. Долго потом мы с братом, как посмотрим на эту божницу, сейчас — на уме шепелявый выговор Карпинского, которому я умел подражать:

— Совершенно лишняя обуза.

И, пожалуй, вот все, что осталось от столкновений с местными людьми.

Кроме еврейки Рахиль, разве еще два лакея — терпеть не могу этого слова, но и человек не лучше, — Доминик и Людвиг, оба поляки, служившие одновременно. Доминик был шляхтич, но весьма невзрачный, и его доподлинное дворянское происхождение ни в чем не проявлялось. Человек был тихий, и приставлен к нам, детям, хотя раздевать нас, даже снимать сапоги было отцом строго воспре-

щено. Сами должны были справляться, а его дело только порядок наводить. Когда же мы уляжемся, и свечка потушена, он опять заходил и говорил почему-то по-немецки:

— *Kinder schlafen* <Дети спят>.

Кажется, единственное, что он по-немецки знал. Совсем другое дело буфетчик Людвиг. На Жданях, также подбоченьсь, ездил верхом. Хват и на все руки. Этот на лошади мечтал, конечно, о кунтуше с закидными рукавами и шпорах гусарских, да чтобы кривая сабля при бедре. Ну, разумеется, и охотник. А когда ходил не во фраке, как ему полагалось, галстук сиял всеми красками радуги.

Обоим полагалось говорить — вы. Потому что поляки.

Разве еще о евреях.

При большой квартире-особняке за Остробрамой сад был на склоне горы, спускаясь к улице, а наверху дощатый забор, за которым маленькая улочка. Нас с братом научили влезать на забор и кричать еврейским мальчикам не особенно приветливые слова на жаргоне:

— Кус мир ан тохас<sup>1</sup>.

Тогда надо было поскорее соскочить назад в сад, потому что в забор с улочки летели камни. На этом, впрочем, и заканчивается мой детский, виленский антисемитизм. Позднее я учился в Рисовальной школе, где ученики были сплошь еврейские мальчики, а я там сдружился с одним из них, по фамилии Сегаль<sup>7</sup>, будущим художником. Сказать о нем, пожалуй, и самое важное, что касается еврейства.

Приятельство с Сегалем всего более характерно, однако, тем, что еврейство его тут, в сущности, не играло почти никакой роли: ни за, ни против. Не важно было и то, что в Рисовальной школе он считался самым талантливым. Об искусстве мы совсем не говорили. И речи не было о каком-нибудь соревновании или чем-то в этом роде. Совсем другое. Меня захватило невиданное и неиспытанное, только умом понимаемое, потому что в моем, т<ак> ск<азать>, органическом сознании нечто подобное тогда совершенно отсутствовало: мальчик, стремящийся выйти в люди, пробиться. Вся семья, бедная, совершенно простая семья с кучей детей, смотрела на его призвание как на дела. Упорно, сознательно, приняв во внимание все возможности и все препятствия, мальчик всего на два, на три года старше меня начал трудную и сложную карьеру. Разве я тогда хоть на минуту задумался о том, что со мной будет, чему я стану учиться, главное, на какие средства жить? Все это было даже не в тумане. Просто и тени чего-либо подобного не проскользнуло, не было ни через какое раздумье. Только не это. А тут такая определенность. Точно рассказ читал я в его

<sup>1</sup> Правильнее [куш]. Букв: «Поцелуй меня в задницу» (идиш). — *Прим. ред.*

душе. Захватило воображение. Вот оно что. Почувствовал. Вроде как за него и с ним, мечтал. Оттого и на его способности — мы только еще рисовали черными карандашами и углем — смотрел совсем не с какой-то, надо бы сказать, художественной точки зрения. Он был для меня ремесленник, который этим своим ремеслом достигнет лучшей жизни, может быть, и родителям облегчит. А он, как все евреи, был нежно привязан ко всей семье, особенно к маленьким братьям. Художник, ремесленник.

Таким он и стал. Кончил Академию, и через много-много лет в Петербурге мы с ним встретились на улице лицом к лицу и узнали друг друга. Меня еще удивило, что он оказался меньше меня ростом. Там, в Вильне, он производил впечатление почти высокого. Сегаль тогда многое уж знал обо мне из газет. Это стало ясно, только мы разговорились. Но тем меньше нашлось, что сказать друг другу. Почему-то ни одной секунды не подумалось мне во время этой встречи, что он может быть чем-нибудь иным, как ремесленником, и перекинулись лишь несколькими фразами, так сказать, биографически-делового характера. Мол, да — портретист и есть заказы. Слава Богу. На этом и разошлись.

С точки зрения отношений к местному населению или, вернее, в данном случае к впоследствии неизбежному или даже чуть не обязательному антисемитизму, характерно в этом приятельстве было полное безразличие родителей. Даже как будто поощряли, потому что, покровительствуя даровитому мальчику, заказали ему мой портрет, и мы часами просиживали наедине в нашей с братом комнате. А ему заказали еще с фотографических карточек портреты деда и отца. То и другое карандашом. И портрет деда очень удался. До конца старого режима он висел в гостиной на Жданных в круглой рамке. Только с отцовским вышло неважно. Сходство схватил, но в смысле художественном было отврати<те>льно. Отец потом, смеясь, говорил:

— Разве на семейной на Жданных повесить?

Пожалуй, даже напрасно родители слиберальничали, потому что Сегаль мне объяснил, чем женщины отличаются от мужчин и откуда дети. Он уверял, будто офицеры заводят молодых девушек за город в рощи, особенно те, что за горой, на которой был клуб, и там лишают их невинности. Девушкам больно, но нравится. И когда я ходил с гувернером гулять в ту сторону за город, думалось, а вот-вот где-нибудь в сосновой чаще офицер и барышня. Он делает ей больно, а ей нравится. Очень интересно.

### **Цивилизация и женский монастырь**

Когда незадолго до войны я еще раз увидел Вильну, потому что читал там публичную лекцию, в ней издавалось пять газет на пяти языках. Русской газеты, кроме официальной, кажется, не было; но зато выходило два издания белорус-

ской «Нивы», одно латинским шрифтом для католиков, а другое кириллицей для православных. Так же точно и две еврейские газеты: одна на жаргоне<sup>1</sup>, а другая по-древнееврейски. Не упомню, были ли еще две газеты: польская и литовская, или только одна, на одном из этих двух языков. Как бы то ни было, вот сколько маленьких центриков различных цивилизаций. Та среда, в которой я рос, не принимала никакого участия в какой бы то ни было местной жизни, меньше всего умственной. Жили «между собой», и оттого очень удачно назвали сборник стихов и рассказов, какой издали, «Между нами». Сами по себе. Как увидим, составляли какой-то занесенный на западную окраину кусочек столичной русской цивилизации. Однако врезалось в память. Говорили об этом. Говорили даже с некоторой стыдливостью. Ведь в Вильне когда-то был университет. Он, разумеется, был польский. В нем учился Мицкевич. В нем преподавал Лелевель<sup>8</sup>. Этот культурный центрик был разрушен при Николае Павловиче, и даже библиотека отослана в Киев. А на месте Университета, кажется, в том же здании, была основана русская классическая гимназия.

Теперь в Вильне опять польский Университет. А что было бы, если бы Россия поступила, как теперь Югославия в турецко-арнаутско-цинцарско-македонско-болгарско-сербском городе Ускюбе, ныне Скопье, где я по-сербски читаю со студентками и студентами Данте, Шекспира и Сервантеса? Что если бы действительно был основан русский культурный центр? Какой город Вильна? Запомнились эти безбородые крестьяне в серых кафтанах, фасона пальто, из самотканого сукна, в черных фуражках и белых, тоже самотканых рубахах с прямым воротом. Приезжали на базар в маленьких узких телегах, в одну лошадку, запряженную с другой. Они-то и делились на православных и католиков, и для них впоследствии возникла белорусская «Нива». Не знаю статистики. Кого больше в окрестностях, литовцев или белорусов? Во всяком случае, не польский же город Вильна. И если город царя Душана стал сербским, то и столица *regni Lituanoꝝ Ruthenerumque*<sup>2</sup> <королевства *Lituanoꝝ Ruthenerumque*> имела все основания стать русским городом; скажем: *Ruthenorum Lituanoꝝque*.

Великий грех в спорах между различными церковными иерархиями! А великое благо в единстве церковном, особенно, когда оно может органически слиться с единством национальным, единственной здоровой и плодоносной почвой государственности! С тех пор как я живу в Югославии, где как будто и уживаются все три религии: православие, католицизм и магометанство, я вновь и еще сильнее чувствую, насколько был прав Хомяков, когда считал православие славянским вероисповеданием христианства. Спор православия и католицизма, т. е., правильнее сказать, натиск Рима сказывается. И особенно горько, хотя и косвен-

<sup>1</sup> Имеется в виду идиш. — Прим. ред.

<sup>2</sup> Русских и литовцев (лат.). — Прим. ред.

но сказался он в том кризисе, из которого пришлось выбраться умному королю Александру<sup>9</sup>, путем, надеюсь временной, отмены парламентаризма. Оттого разве можно без внутреннего беспокойства подумать о белорусском крестьянине, вот этих безбородых русских, в серых самотканых кафтанах-пальто, которые и теперь, наверно, приезжают в Вильну из окрестных сел. На своих узких маленьких телегах в одну лошадку. Католицизм или православие?! А тут еще вклинивается, точно мало внесено смуты в сердца и умы, — униатство.

Спорятся теперь Шептицкий<sup>10</sup> с д'Эрбиньи<sup>11</sup>. Оба служат делу Вселенской Церкви, и оба не знают, что Церковь Вселенская в Духе, и оттого она Вечна, и оттого она Едина; во плоти же она не Едина, а Соборна, ибо плоть церковная — языцы, нации, народы Божии, населяющие просторы Земли. Но Шептицкий и д'Эрбиньи пекутся не о пастве, не о церкви верующих, не о спасении душ многих и многих малых сих, грешных, в скудости души пребывающих простолюдинов и просто верующих, простодушных и простых сердец. Весь спор о высшей иерархии. Оттого оба они могли бы по наивности попытаться, как это и сделал д'Эрбиньи, прельстить патриарха Варнаву<sup>12</sup> участием в Конклаве на выборах в Святые Отцы. Наивно, конечно, потому что никак не захочет кто-либо из православных патриархов снизойти до положения кардинала. В чем согласны и солидарны Шептицкий и д'Эрбиньи — традиционная игра, фикция, и сами верят ли они в то, что неудачи властного Иннокентия III и интриги Поссевиновы<sup>13</sup> когда-либо могут перестать быть неудачными и интригами при ком-либо из нынешних или грядущих пап? Но спор Шептицкого и д'Эрбиньи — не фикция; он действительность; он о смуте и скорби, об искушениях и совести живых людей. И мы все, православные, должны быть на стороне д'Эрбиньи. Мое с ним недавнее лобзание в его Istituto Orientale <Институте Востока> в Риме, по крайней мере с моей стороны, совсем не было лобзанием Иуды, а скорее снисходительным поцелуем ребенку, который игрушечных курочек приставил клевать настоящие зернышки. Верит или не верит, что поклюют? Вся малая паства в сотню с лишним человек архиепископа древней Трои и современной Москвы, отпущившего по этому случаю длинную бороду монсеньора д'Эрбиньи — курочки игрушечные, включая сюда и искреннего, как мне мнится, отца Кузьмина-Караваева<sup>14</sup>, и не ведающего, что творит, по скудоумию своему отца Александра Волконского<sup>15</sup>, говорят, будущего православного кардинала. Особенно же, да, особенно надо включить сюда и его великого друга, гениальную игрушку, играющего как верой отцов, так и причудами стиха и русской поэтической речи, Вячеслава Иванова. Совсем другое Шептицкий. И, кажется, так и докладывал он в Ватикан, что, мол, играетя только и тем в искушение вводит д'Эрбиньи и с ним заодно весь т. наз. греческий рит (rito greco). Церковную политику, увя, кует он, Шептицкий.

Все сторонники и сотрудники д'Эрбиньи, к которым надо прибавить еще и беспомощно соревнующихся с ними монахов из Гротты Ферраты<sup>16</sup>, в один голос проставляют и чин, и благочестие Православия. Особенно благолепными и прекрасными считают они наши службы и нашу церковную музыку: либо ту, что в наши годы великой русской эмиграции всюду, где есть русские, в 15 церквях Парижа, и по всему Западу, и по всем славянским землям, и в Америке, и на Дальнем Востоке любовно хранят и по ней молитвенно воспевают наши современные певчие, либо ту, древнюю, греческую, еще X в., что вычитали недавно ученые в греческих рукописях Гротты Ферраты. И замалчиваются догматические разногласия. Точно и нет их. Не спорят с нами, а хва<л>ят нас теперь самые важные католические прелаты. Только бы мы, т. е., конечно, не кое-какие немногочисленные миллионы греков, сербов, болгар и сирийцев, а именно *мы*, целых 150 или больше миллионов русских, согласились принести дары нашего благочестия главе великого и пресвятого Интернационала, Папе Римскому, спасая душу свою от III Интернационала, нечестивого и впавшего в безбожие. Не на зло, а на пользу эта игра. Только бы самим не стать игрушками. А как, разве можно это подумать, хоть одну единственную минуту, согласятся русские мужики, все равно — в косоворотках или в рубахах с прямыми воротами, усатые или в бородах или даже напялившие лохмотья блуз III Интернационала, духовно подчиниться Римско-католическому Интернационалу. Самую что ни на есть Римскую Папу над Церковью Христовой поставить. О Царе Православном, пожалуй, что и порядочно позабыли; нет к нему возврата! А вот уж совсем никак не потащатся, оправившись от пятилеток, горемычные, голодные и безземельные, как ни зазывай, под самую Римскую Папу; в Ватикане не пойдут в Каноссу.

Совсем другое Шептицкий. И только оттого вот и написались эти как будто лишние страницы, что вспомнились те виданные в раннем детстве безбородые белорусы на своих узеньких одноконных телегах. Тогда были полешане; богатейшие леса Полесья покрывали их болотистые земли. Теперь сведены леса, остались одни болота, и живут и горюют, пашут на тощих песчаных боровых местах; в колтунах и нищете, нищете с голодными брюхами, набитыми картофелем. От комсомольских харчей не отъешься.

Те из них, которые униаты, давным-давно подчинились Риму. Но Католическая Церковь все-таки, как и для православных, была тем же важным польским паном, разъезжавшим кругом. На колени должны они были падать перед ним, а он звал их: быдло, скот. Скоты, а не церковь верующих. Парии, нечестивцы, вечно виновные, виноватые за те самые богослужebные древние великолепия, какие теперь принято в Ватикане прослав<л>ять и расхваливать. Такими были и остались, а под Шептицким и под нынешним польским режимом, как предмет нарочитой пропаганды. Ибо: — Какой там *rito greco*?! — возражает Шептиц-

кий, — добыюсь, вытравлю из них дурь! Сделаю из них самых что ни на есть католиков! И горше им, чем православным, за которых может заступиться и теория меньшинства, и демократизм, и особая православная автокефалия. Мучается за веру и о вере, а не просвещается униатское быдло!

Не сумело православие ни приласкать, ни привязать к себе униатов. Как вместо польского пана стремились посадить русского барина, так и вместо поляка-католика явился на смену Москаль. Хуже. Бедна земляца, и ищут заработков белорусы. Одни на земляные работы, другие в прислуги; а вот третьи, те, что из полуинтеллигенции, на какую только службу не нанимались. Ну и в чиновники, в губернские управления, в полицию, т. е. в москаля. А что это значит: в москаля? Как становились москалями, так сейчас, что дольше, то больше, и тогда и над нами природными москалями возвышались: из белорусов набиралась опричнина Каткова. Кояловичи<sup>17</sup>, Сазановичи<sup>18</sup>. Беда! Намучались намученные, раздробленные, но не перемолотые между двух жерновов, Ягеллонов и москалей, скорбные души и шли чуть не с отчаяния либо в то, что позже называли черной сотней, либо, по противоположности, в революционеры. Не складывалась и не сложилась местная жизнь, ни церковно, ни вне церкви. А что если бы памятник в Вильне поставили не Муравьеву-вешателю, а Симеону Полоцкому? Напомнили бы о князьях Острожских<sup>19</sup>, отозвали бы Кояловичей от опричнины Каткова. Рассказывать бы Кояловичам о том, как в Виленской Иезуитской Коллегии, потому что скудно было учение на Москве, учились местные, и пришлые, и белорусы, и малорусы, как прибирался в Италии доктор Скорина<sup>20</sup>, каким поистине авангардом, но не Польшу делить, а воспринимать цивилизацию еще задолго до Петра, помогали нам, москалям, ихние предки, и тогда тяготели к Москве, не пугались москалями, несли туда знания в обмен за подспорье против католической шляхты.

Я только двух помянул белорусских интеллигентов, какие запомнились. Позднее и других видел. Репетиторами часто нанимались и виленцы, и могилевцы, и витебцы. И слышал я от них белорусскую «Шуточную Энеиду», да поэму о том, как на самый Парнас пробрался Тарас, полесовщик. От обоих веет бурсой, XVIII веком, старинной, теперь изжитой, но своеобразной интеллигентностью. Может быть, и презирал эту литературу юный материалист-математик, называвший божницу лишней обузой; а тот другой, романтик, уж наверно, если бы знал, презирал бы создавший их упадочный классицизм. Но была же, была давно, вовсе не только в пяти газетах на разных языках, как после 1905 года, своя была, исконная, от Симеона Полоцкого — и оттого ему непременно надо было поставить памятник — местная и русская, православная и строго западническая культурная традиция, и ни при чем тут Катков.

Слышал ли я о чем-нибудь подобном тогда, ребенком? Нет, конечно. А все-таки какие-то чуть брезжившие в сознании проблески <о> роли православия и культурном русском влиянии в этом разноплеменном городке потеряли мое любопытство. Что-то смутное запомнилось.

Нас возили в женский монастырь. Родители были знакомы с игумен<ь>ей, и вообще нас принимали там как своих: не только на службу, в церковь, но по кельям.

А запомнилась мне только мать-игуменья. О ней принято было говорить: какая моложавая. Как ее звали и из каких она была, может быть, и тогда не знал. Во всяком случае, образованная. И, наверно, дельная. Чистота и порядок врезались в память. Чинно все было. И приветливо, с особым тактом, принимала эта моложавая, с правильными чертами лица, чуть что не совсем красавица, мать-игуменья в залитой солнцем гостиной своих покоев. Ну, конечно, диван, тяжелый, красного дерева, перед ним — стол, накрытый пестрой салфеткой, с вышивкой на сюжет из Священного Писания. От стола в два ряда кресла того же фасона, что и диван. Между окнами простеночные зеркала, против окон клетки с веселыми канарейками. Портреты владыки и членов императорской фамилии по стенам. И неслышно скользят по ярко начищенному паркету проворные молодые послушницы, угощая гостей чем-нибудь необычным, сладостями своего изделия и самыми что ни на есть русскими. И разговор чинный и такой по-особенному русский. Островок или, лучше бы сказать, маленький живой музей исконной московской России.

Разве это не центр новой, насаждаемой здесь после 1863 года, обрушавшей край цивилизации? Разве не должна была служить прикрасой моложавая мать-игуменья? И разве не для того была она именно сюда назначена, чтобы оказать влияние, чем-то послужить. Ведь не спасенье от суеты мирской было назначением этого женского монастыря под Вильной. Будто чего-то такого и ждали от него.

Раз отец спросил мать-игуменью что-то вроде чего-либо подобного, будто: ну, как подвигается ваша деятельность? Не этими, понятное дело, словами.

— Да вот на этой неделе одного еврея крестили, — ответила игуменья.

— Ну, еврея, это не важно, — возразил отец. — Вот вы бы католиков обращали в православие.

Евреи на то и евреи. Им так полагается. Зачем их крестить? В этом отцу, очевидно, не виделось никакого ни политического, ни вероисповедного интереса. А может быть, и в искренность таких обращений не очень-то верилось. Надо было помнить: не тот жид, кто еврей, тот жид, кто жид. Под этим заглавием я видел в Польше пьесу, и ей евреи придавали большое значение. Правда, помню я от этой пьесы только то, что какой-то чернобородый человек со сверкавшими направо и налево глазами, может быть, и потому, что не знал роли (едва ли не

он-то и был жид), лез в картонное окошко по лестничке, которую с собой принес, и я запомнил, что это с его стороны был очень худой поступок. Вот если такого окрестить — зачем? Все равно будет лазить в окна.

Едва ли мог отец серьезно верить и в возможность обращения католиков в православие. Не в этом, конечно, было дело.

Не об униатах надо, конечно, думать.

И разве не могли такие молодежавые матери-игуменьи — пожалуй, именно женщины — омолодить задряхлевшую после Симеона Полоцкого западнорусскую цивилизацию? Дождались мы, когда пошла совсем другим путем, с ближайшего запада, от польской шляхты, с отравой сепаратизма, сея новую смуту, с лукавством, с историческими и иными подтасовками, и точно мстит за свое закрытие Виленский университет, вскормивший Мицкевича и Лелевеля, и теперь воскресший для распространения шляхетской для того края, польской цивилизации.

### **Вильна, маленький город**

И теперь — небольшой город Вильна, а в дни моего детства совсем был крошечный.

Выйти за город ничего не стоило. И было две, т<ак> ск<азать>, классические прогулки. Одна вверх по Вилии в Закрет. За большим зданием Юнкерского училища тянулся густой сосновый лес, куда-то далеко по крутому берегу реки. Стройные, ровные деревья не давали траве густо разрастаться, и словно парк, нарочно для гулянья был этот лес. А в противоположном направлении от центра города сейчас, за Соборной площадью, тоже кончался городок. Надо было взять простой грунтовой дорожкой вверх по ручью, за которым возвышалась высокая гора. Ее как будто звали Замковой. По этой дорожке зимой доходили до полянки, где устраивался из замерзшей лужи ледяной каток. Летом же дальше в гору сад Клуба, а за ним уж опять совсем конец города, и тянулись по холмам те самые сосновые рощи, о которых мне мой товарищ по рисовальной школе, будущий художник, Сегаль, рассказывал такие интересные вещи.

За Остробраму и за Вилию мы никогда не ходили гулять. Незачем было. Но и там рукой подать до окраины. Дальше протянулся разве Антоколь; это предместье: мы там прожили одну зиму. Если идти от центра города, дорога на Антоколь потянется левее Клуба.

Главное украшение теперешней Вильны составляет прелестный городской сад по склонам той высокой и крутой горы, что я назвал Замковой. В те далекие годы, т. е. полста лет тому назад, ничего и похожего не было. И какой-то таинственностью была окружена эта гора. Ведь она подымалась сейчас за Соборной площадью, а рядом с собором высилась старинная башня Ольгерда или Гедими-на, и сказывали, что некогда там было капище огнепоклонников. А гора-то тоже

Ольгердова или Гедиминова, оттуда и от нее тоже веяло тайными преданиями. А туда еще совсем не пускали, значит, еще таинственнее. Да и как было к ней проникнуть — совсем неизвестно. Запретное, зачатое место. Отсюда как же это мальчику, проходя чуть ли не каждый день мимо, не строить проектов, как бы это все-таки взобраться, да на самую вышку, и своими собственными глазами убедиться, что же там такое необыкновенное: какой это там замок?

Как-то один, вероятно, это было в какой-нибудь промежутке между двух гувернеров, я этот долго таившийся в моей душе план возьми да и осуществи.

Самое трудное — и я это превосходно знал — переправа через окаймлявший основание горы ручей. Не то что широкий, а глубина — чего там? Не по пояс же. Нет. Дно у ручья гибкое, трясина. Однако, не помню как, я ухитрился, наверно, по какому-нибудь суку, — самое главное удалось: оказался по ту сторону ручья. Тогда началось — просто. Только снизу бы не увидели. По зарослям, по-за деревьями, все выше и выше, и наконец добрался до самой верхушки. Ну, конечно, вид чудесный. Теперь это все самые прозаические виленские жители прекрасно знают. Но разве в этом был интерес для меня, десятилетнего мальчика? Нет, вовсе я не попал в мир сказочных чудес. Вот одно из разочарований моей души. Оказалось, что передо мной какое-то серенькое зданье, и это на самом верху! Какое оно, кто его знает? Но приспособлено под обсерваторию, и хранит его сторож, совсем добродушный инвалид, от которого пахнет табаком и ржаным хлебом. Даже не уди<ви>лся, когда меня увидел. Пробормотал, разумеется, для порядку: — Не велено.

Однако даже трубу подозрную показал и научил, как вниз спуститься.

Дома, где был, я, конечно, не рассказал.

Когда вторично, через четверть века, я подымался на ту же гору по дорожкам городского сада, чуть не на каждой скамейке сидела курсистка-еврейка или во всяком случае еврейка, похожая на курсистку. И непременно с книжкой. Может быть, к экзаменам готовились в каком-нибудь нашем или заграничном университете. Наверное, ни одной из них и не снилось, что вот тут теперь, в самом центре города, можно было иметь даже и рискованное, а во всяком случае занятное приключение. В самом деле. Так мещан<с>ки прилизана и благоустроена стала гора.

Спустившись, только перейти через площадь, направо — краса города, Георгиевский бульвар, правда, все еще, вероятно, и теперь довольно жалкий, а налево или миновать прежний генерал-губернаторский дв<о>рец (что-то там при поляках?), сейчас, рукой подать, главная улица, расширяющаяся в площадь, раньше чем подползти под священные ворота Матки Божки Ченстохо<в>ской<sup>21</sup>, а еще ближе немецкая улица, в ино<е> время — еврейский квартал.

К достопримечательностям тогдашней Вильны надо, однако, еще прибавить генерал-губернатора Альбединского<sup>22</sup>.

Мои родители не принадлежали к его двору, хотя и были, конечно, знакомы. Я же видел Альбединского все больше в спину. Даже, помнится, хотелось посмотреть его спереди, потому что он носил особенно пышные подусники и считался красавцем. Однако все не удавалось. И вот почему. Нас водили по воскресеньям в дворцовую церковь. А Альбединский с дочерьми, сыном: девочки, подростки, и сын совсем маленький, всегда стояли впереди на ковре, возле правого клироса. Оттого всю службу приходилось видеть в спину самого Альбединского, носившего форму Гродненского гусарского полка, и любоваться его статной фигурой и великолепным задним пробором через всю голову. Спереди был клок, и виски зачесаны вперед, и тем сильнее было влечение удивить ею с лица, а не только с затылка. Между тем и его семью — значит, и детей я видел тоже только в спину, никогда не оборачивались и ни с кем не здоровались, простаивая так чинно и неподвижно всю службу, как это умели делать все благовоспитанные православные. Вдобавок позади девочек стоял еще их гувернер, учитель Пенкин, в вице-мундире, и это обстоятельство еще больше напрягало интерес: как это, у девочек — и вдруг гувернер? О гувернантке же никогда не было речи. Еще дразнило воображение и то, что госпожа Альбединская, урожденная княгиня Долгорукова<sup>23</sup>, в церкви не показывалась, а говорили, будто было нарочно проделано для нее из внутренних покоев большое окно, и она присутствовала на обеде, не входя в церковь. Ну, разве это не великолепно?! Такой особый этикет в таком маленьком городке!

Моя жена гораздо позднее была знакома с барышнями Альбединскими, хотя и старшими ее на порядочно лет, и когда я о них вспоминал, всегда вспоминал тот придворный этикет, каким они были окружены, хотя теперь барышни как барышни. А гувернер? А окно в церковь из внутренних покоев <?> Но особенно красавец отец, в гусарской форме, как будто даже не совсем подходившей для пожилого человека, да еще и генерал-губернатора, чуть что не наместника. Да, красавец, и говорили о нем, что карьеру сделал красотой и нарядностью. При дворе принята была такая репутация.

— Первый на коне и первый на паркете!

Вот оно что.

### **Знакомые и друзья**

Я стою рядом с каким-то органчиком, похожим на закрытый рояль. Со мной рядом на коленях красивая девушка с грустными глазами. Она старшая в семье. Значит, очень на возрасте, и мне как-то ее жаль: такая красивая, а замуж не вышла. Девушка вертит рукоятку органа, и слышатся звуки. Это она забавляет меня, маленького мальчика. Не могу забыть, как она сказала:

— Ведь это — «На пути село большое»!

Сжалось сердце, и до сих пор волнует. Знал, что есть такая песня: «Вот на пути село большое», но, очевидно, не узнал мотива, и это обнаружилось! Срам какой! Скрывать хотелось — но как? не спрячешься: нет слуха, нет слуха, немзыкален, нет слуха!.. Вередило. И сейчас больше всего вот этого не могу себе простить.

Произошел этот случай в низеньком особняке, на самой опушке Закрета, где жила семья Урусовых. Говорили, что они бедны, но что старая княжна — урожденная графиня Толстая, родная сестра тогдашнего министра Народного просвещения, знаменитого поборника классицизма. Зачем эти Урусовы жили в Вильне, не знаю. Сам князь был уже старый, весь белый, с большой круглой бородой и зачесанными вперед висками. Монокль на черном шнурке так своеобразно гармонировал с широкой бородой. Впечатление от него сохранилось как от не в меру шибко пожившего барина, теперь немного опустившегося и живущего скорее в прошлом, несмотря на подростивших детей. Вдобавок все члены семьи, сама княжна, четыре дочери и сын-мальчик, были крупные, даже как будто дородные, а только старичок, не в меру шибко поживший когда-то отец, казался или на самом деле был среди них затерян.

Та девушка, что, стоя на коленях, вертела для меня ручку органчика, была самая старшая из четырех барышень, княжна Мэри<sup>24</sup>. Она потом вышла за какого-то не очень удачного князя Голицына<sup>25</sup>, служившего по коннозаводству. Дальше шла Китти и еще две взрослые барышни, имен которых не помню, хотя с одной из них, вышедшей замуж за Бельгарда<sup>26</sup> (главного цензора), мы с женой обменялись перед самой войной визитами. Княжон я особенно хорошо помню, потому что они приезжали в четырех местных санях, запряженных парой очень ненарядных лошадей, кататься на коньках. Так и приезжали в коньках. А тогда еще были они с деревяшками, привинчивавшиеся к каблукам и туго зацепленные ремнями. Ото всего этого веяло оскудевшим, хотя все еще важным, благовоспитанным и самым что ни на есть приличным барством. Потрепанные шубы и отличный английский язык, мрачный и даже неряшливый особнячок на окраине и та изоциренная простота в обращении, которая самый лучший из признаков светскости.

У этих барышень был брат, Коля<sup>27</sup>, возрастом посередине между мною и братом. Он после кончил Лицей. Не он ли тот либеральный князь Урусов, написавший «Записки губернатора»?<sup>1</sup>

Странно, почему мне так врезалось в память это семейство Урусовых. Как живые, они сами и их домик да их пара серых лошадей стоят передо мною через целое полустолетие. А вот как жили Столыпины, совсем улетучилось из памяти, хотя ведь это г<оспо>жа Столыпина назвала меня: *le petit Tiers* <маленький третий>, а ее сын, Петя, будущий премьер-министр Петр Аркадьевич, сохранил

<sup>1</sup> Автор «Записок губернатора» — С. Д. Урусов. — *Прим. ред.*

с моим братом самые дружеские отношения до самой смерти. Со вторым же из живших тогда при родителях мальчиком, Сашей<sup>28</sup>, будущим журналистом, я по-разному и в разное время, от самого университета и до беженских лет здесь в Сербии, и встречался, и сталкивался.

Отец этих братьев Столыпиных, по-видимому, командовал в Вильне пехотной дивизией. Был статный и очень выдержанный в манерах генерал, но больше о нем ничего не знаю. Ну, конечно, гораздо больше о его жене, урожденной княжне Горчаковой<sup>29</sup>. Курносая, как все Горчаковы, живая, простая в обращении и очень образованная, она имела репутацию все слова говорить без всякого стеснения, какие обыкновенно дамы и между собой не имеют привычки выговаривать. И одевалась она сама и дети, а у них это осталось навсегда, не то что просто и не по моде, а как попало. Пока не заговорят своим шепеляво-картавым произношением с каким-то семейным всхлипыванием, ни за что не определить, кто такие, разве что рослые. И уже студентами в Петербурге, принадлежа к тому, что называется золотой молодежью, братья Столыпины носили какие-то длиннополые черные пары, какие можно было видеть на семинаристах. Впрочем, кончали гимназию оба брата Столыпиных где-то, кажется, в Саратове и, может быть, оттого в Петербург, в Университет, приехали провинциалами.

Семья их, как и Урусовых, была большая. Старший брат, уже взрослый, не жил с родителями и как будто только раз приезжал в Вильну: толстый, в усах, штатский и, не знаю, так ли это, с репутацией литератора. Второй брат — тоже взрослый, офицер Преображенского полка. Его я никогда не видел. Он рано умер, и говорили, что Петр женился на его бывшей невесте, сестре его товарищей Нейдгардтов<sup>30</sup>. Была и дочь, барышня-подросток, будущая г<оспо>жа Нейдгардт. Ее и лица не помню. Самым блестящим в семье считался младший — Александр. Он такой и был. Петр напротив. Оба они по возрасту подходили к моему брату, одновременно с ним поступили в гимназию, и, конечно, мне никак не компания. Однако едва ли я ошибусь, если скажу, что тогда — настолько я их знал — нельзя бы счесть Петра будущим энергичным и решительным, большим оратором и человеком значительных государственных способностей, как о нем принято теперь думать. Совсем напротив: довольно бесцветный, будто даже и не очень умный, вот какое он производил впечатление.

Семья Столыпиных дала в лице Петра — историческое лицо. Оттого было естественно, раз я их знал, оговорить это знакомство. Но мне не утерпеть внести в мою портретную галерею одну семью знакомых, которые ничем не выдавались.

Это — Крыловы. Памятны они мне лишь потому, что дочь, еще подросток, некрасивая, но очень милая, часто каталась на коньках, и оттого ее немного неуклюжая фигура Back-fisch'a <девочки-подростка>, неправильные черты лица и приветливая улыбка — будто я только что ее видел. Отец семейства, генерал Крылов,

командовал кавалерийской бригадой. Тоже был неказист, а на лошади казался сутуловатым, с одним плечом выше другого. Жены его наружность тоже не сгладилась, сейчас бы узнал. Светская женщина с чертами лица, которые дочь унаследовала, увы, не впрок. Еще не старая, и за ней ухаживали, кому-то нравилась. Два младших сына были еще меньше меня возрастом. Одного из них я после видел. Он кончил Пажеский корпус и вышел в лейб-улань. В Петергофе я с ним и встречался.

Но пора перейти к семьям не знакомых, а друзей, с кем близкие отношения продолжались в Петербурге.

Только отчего мне стало жутко от того, что я написал. Добро бы были, действительно, портреты. Сами бы они имели свою ценность, независимо от живых людей, которых изобразили. Но ведь у меня это не так, я почти только назвал или, вернее, вызвал, да, вызвал, потревожил, не спросясь; хуже, я потревожил тени чьих-то матерей, отцов, дедов, точно покощунствовал над чужими семейными склепами. Так это или нет?

Так, так! Но прежняя Россия не состояла из холодных формул, какие создают историки, из социологических выкладок. Выйдите же, тени прошлого, из вашего святого небытия, тени сжившие, а, может быть, кое-кто из вас и сами живые. И не стыдитесь, что не облечены вы в четкие контуры и яркие краски, в какие бы одели вас умелые портретисты! Разве вы не победили мрак тем самым, что вы проснулись?

Вот сейчас мне надо писать о семье Веревкиных, а Петр Владимирович Веревкин<sup>31</sup>, друг моего покойного брата, жив, и у него есть дети, вернее всего, и внуки. Он член литовского Парламента в том самом городе Ковне, где он был губернатором и где я его видел при совершенно особых обстоятельствах, о которых гораздо дальше. Общественные люди, писатели, художники, ученые, политики, все они по необходимости должны говорить о себе, как Лев Толстой, когда Репин захотел его зарисовать во время молитвы, и они — девушки, потерявшие стыд своей наготы. Но П. Вл. Веревкин частный человек, и для него я также частный человек. Какое ему дело, что я писатель! Оттого тут еще одно волнующее меня обстоятельство. Оно может быть разрешено уже только на моральной почве. Даже когда дает рекомендацию, которая ведь непременно хвалебна, принято не запечатывать письма, чтобы то лицо, о ком идет речь, могло само знать, что о нем сказано, а я собираюсь, никого не предупредив, т<ак> ск<азать>, пересуживать с самим собою людей, с которыми сталкивала жизнь. А разве я это делаю только с самим собою. Нет, должно быть ясно: эта моя книга подымает в моей совести не разрешенную в ней этическую проблему.

Не преодолев этих последних сомнений, я и стану, все-таки стану рассказывать, какую помню семью Веревкиных в Вильне, когда мне едва минуло десять лет.

Главным лицом в доме была мать г-жи Веревкиной, решительная, властная старуха Дараган. Она заведовала воспитанием детей, и не знаю, сам ли слышал или только рассказывали, что при гостях она не стеснялась прикрикнуть.

— Viens que je te donne un soufflet devant tout le monde <Иди сюда, чтобы я тебе дала пощечину у всех на глазах>.

Причесывалась она с буклями на ушах и платья носила с пелеринками, прямые и отороченные воланами.

Ее мои родители знали и раньше, т<ак> к<ак> Дараганы были боровицкими помещиками. И там, в деревне, оставшись вдовой со многими детьми, эта энергичная дама справлялась — надо думать, особенно-то в крепостную пору! — по всей своей воле.

Рядом с ней совсем в тень отходила ее дочь-красавица, с правильными чертами Дараганов, тихая и очень добрая, нежная к детям женщина. Даже сам генерал, Владимир Николаевич, отец семейства, как будто вовсе не проявлял своего сурового, как говорили, характера. Севастопольский герой и Георгиевский кавалер, он имел репутацию особой жестокости, и даже в молодости не из-за какой-то истории со своей ротой вышел из лейб-гвардии Измайловского полка? Говорили, что в день своей серебряной свадьбы он подарил жене браслет с Георгиевским крестом в знак того, что прожить с мужем, у которого заведомо такой тяжелый характер, как у него, настоящий подвиг.

Однако никогда за долгое и близкое знакомство с Веревкиными мне не пришлось ни присутствовать, ни слышать о проявлении его суровости или вспыльчивости. Разве в глазах, совершенно прозрачных, можно было прочесть жестокость. Напротив. Надолго оставшиеся почти что розовыми полные щеки, не топорщившиеся усы и закругленный овал лица, под светлыми волосами, казалось, говорили скорее о мягкости. Особенно руки его, когда он здоровался, бывали до приторности мягки. В Вильне Вл. И. Веревкин был начальником местных войск, и, значит, не было повода особенно муштровать своих подчиненных.

Детей было трое. Старшая, Марианна<sup>32</sup> — тогда уже подросток. Она была старше и своего и моего брата больше чем на год. В конец нашего пребывания в Вильне ходила уже в полудлинных платьях, по щиколотку. Без корсета, как полагалось девочкам до 12 лет, я ее не видел. Похожая на мать, но не такая красивая и высокая, она выровнялась гораздо позднее, девочкой ее портили немного свислые щеки, тоже особенность Дараганов. Статная и с очень самостоятельным характером, она и этим казалась старше своих лет. Ее художественные вкусы, будущего живописца, уже сказывались, но еще резче и решительнее, чем вкус к живописи, и что проявлялось особенно по отношению к младшему брату, Вале, — Марианна была воспитатель, руководитель, натура властная, вся в бабушку. И если я вспоминаю ее через много лет в Петербурге, когда между нами даже как будто

завязалась некоторая дружба и она стала образованной, отзывчивой и уже добывавшейся известности художницей, точно это другая Марианна, теперь такая симпатичная и приветливая, выдающаяся из обыденных, блестящая девушка.

Главный предмет ее педагогических и властолюбивых вожделений, маленький Вала был некрасивый, в уродливых очках, нежно-забитый и бесцветный. Какое-то чувство жалости вызывал его не перестававший, неестественный и какой-то хриплый, точно заискивающий смешок, привычка, оставшаяся у него навсегда.

Любимцем и настоящим героем в доме был, конечно, Петя — Pierre, будущий красавец, с отцовскими злыми глазами, но на деле вовсе не такой. Статный и широкоплечий, выше отца, с правильным профилем на круглом лице, тогда в Вильне он знаменит был шалостями. Из гимназии выгнали за дурное поведение, и его пришлось перевести в прогимназию. Странное прошлое для будущего фельдфебеля Пажеского корпуса. А все, и бабушка, и мать, и сестра, и маленький брат — в нем души не чаяли.

Веревкины стали друзьями главным образом через брата, мои только косвенно. Ни с отцом, ни с матерью особой близости не было. Напротив, Лермонтовы и Карцовы — друзья через мать, кроме одного Сережи Лермонтова<sup>33</sup>, — Боже мой, уж сколько десятилетий! он Сергей Александрович, — с которым временно мы с братом очень сблизились.

Странное это было семейство Лермонтовых; что-то и чисто физически было в них неестественное.

Александра Федоровна Лермонтова<sup>34</sup>, урожденная баронесса Стюарт, вышла замуж за своего очень близкого родственника, может быть, и двоюродного брата и своего тезку, Александра Федоровича Лермонтова<sup>35</sup>, красивого и статного, только в молодости был довольно полон — не Кирасира ли Его Величества? — который, когда мы жили в Вильне, командовал драгунами Военного ордена. Уверяли, что именно из-за этого только старший сын, Миша<sup>36</sup>, вышел только нормальный, т. е. высокий и статный. Сама Александра Федоровна была тоже скорее высокого роста, но вот следующие дети один за другим — Сережа, Дина и младший, молоде меня, которого звали Зокль, все оказались почти карликами. Только у самого младшего не было в лице карликовых черт. И в чем иначе тут было дело, как понять? Дурной наследственности предположить трудно. У брата Александры Федоровны, бар<она> Стюарта<sup>37</sup>, служившего довольно важно в Министерстве иностранных дел, известного остряка, оба мальчика были хоть куда. А сам Лермонтов, неугомонный бабник, от кого-то прижил совсем хорошенькую дочку, почти ровесницу Дины. Разве что как-нибудь в сердцах на свою быстро ставшую совсем некрасивой, сутулую и с капризно вывороченными ноздрями, еще вдобавок и с отвратительным характером, законную подругу жизни красавец Лермонтов нарочно таких детей не вывел.

Да, характера Александра Федоровна была бедового. Доставалось от нее детям. Раз Дина мне сказала:

— Мамаша дерется, как на войне.

А Сережу, пользуясь его маленьким ростом, как по железной дороге ехать, одевала совсем как bébé <ребенка>, чтобы четверть билета платить. И тяжесть какая-то легла на это семейство. Позднее, в Петербурге, я обедал у них из посторонних только один. И сам тогда генерал Лермонтов, и все дети сидели за столом. Но гробовое молчание. Весь обед никто не проронил слова. Только Александра Федоровна что-то наворчала на подававшего человека. Когда встали из-за стола, я спрашиваю:

— Что это случилось?

— Да у нас всегда так.

И Мишу, старшего, я долго считал самым неразговорчивым молодым человеком на свете, пока не встретил его уже уланом в Петергофе, и тогда оказалось, что он превеселый, остряк и мастерски рассказывает анекдоты про прусских офицеров.

Но, очевидно, как было им разойтись? Держало всех вместе, в том числе и отца, состояние Александры Федоровны, которое было в Бессарабских землях. Очевидно, и по службе лучше было по крайней мере считаться, что живут вместе. Особенно позднее в Петербурге, когда Лермонтов получил Кирасира Ее Величества в Гатчине. К тому же семья в Петербурге, а он в Гатчине.

В Вильну Александра Федоровна только наезжала, и я помню их жившими в гостинице. Только лето раз мы провели одновременно в Дуббельне под Ригой. Знакомство и дружеские отношения моей матери восходили к девичеству матери. Александра Федоровна и всю нашу родню по матери отлично знала. Лермонтовы были самые петербургские из всех наших знакомых. Но так же, как мы, давно не жили в Петербурге, и Александра Федоровна все разъезжала больше, как говорилось, по заграницам, преимущественно в Германии, по курортам местным. И налет на них был такой особенный, ничего помещичьего, деревенского, строго русского: вещи, привычки, даже кушанья за обедом, все было заграничное; оттого и по-немецки хорошо знали, а дети учились неопределенно. Миша был паж, но Сережа какого-то полудомашнего воспитания и после с большим трудом выдержал экзамен в Лицей, но как-то там не пошло, и не кончил. Дина, думается мне, совсем никакого образования не получила и так ни в каком учебном заведении и не была. Младший, которого я запомнил в кандидатской пажеской форме, т. е. в мундирчике и кепи, только без погон, не успел никуда поступить, потому что рано умер.

Такое заграничное семейство были и Карцовы. И они были в Вильне только наездом из-за какого-то процесса. Г-жа Карцова была вдовой уже старой, очень

приветливой, и с детьми у нее были самые сердечные отношения. Детей у нее было трое. Старший, Юрий<sup>38</sup>, не жил с ними: он либо кончил курс в Лицее, либо уже поступил в Министерство иностранных дел. Я и познакомился с ним, когда уже был женат, в Лондоне. Его тогда после ранения где-то в Малой Азии перевели нашим консулом в Hall. Младшие, Андрей<sup>39</sup> и Ольга<sup>40</sup>, были подростки. Они тоже ни в каких учебных заведениях не учились, как и Лермонтовы. Но Андрей готовился в Лицей, куда и поступил. Судьба всех мальчиков тогдашнего времени, родители которых их слишком долго возили с собою по заграницам. Зато и Андрей, и особенно его сестра — я думаю, что я уже тогда ее называл Ольга Сергеевна, — были очень начитанны. Запоем читали. Ольга Сергеевна рассказывала, смеясь, как они пойдут купить французский роман в книжный магазин и, принеся домой, скоро-скоро пробегут, не разрезая, и затем назад в магазин: мол, не понравилось, дайте что-нибудь другое.

Очень была милая и живая Ольга Сергеевна. Черты лица не то чтобы красивые, но миловидные, а сама вся круглая, как шарик игрушечный, и очень меня одобряла за хороший французский язык. Когда меня брали к ним, было легко и уютно. Главное, меня не развлекали, а давали, как тогда про меня говорили, «разглагольствовать». Ведь и был «le petit Tiers», а не совсем было забыто и прозвище «премудрый Соломошка». Но что я такое говорил и вообще можно ли было меня тогда назвать умным мальчиком, совсем не помню. Во всяком случае, никакого не был о себе мнения.

Еще два семейства. На этот раз сослуживцев моего отца, которых, впрочем, как и на Кавказе, мы мало знали.

Одно из них — барона Остен-Сакена<sup>41</sup>, женатого на Зыбиной<sup>42</sup>. Но о них дальше.

Другие — это Фаминцыны. Мы виделись с ними в том году, когда жили на Антоколе. Скромные люди. Памятен мне сам капитан Фаминцын<sup>43</sup>, может быть, потому что часто после я видел его фотографии. Какой-то испуганный был у него взгляд. Вся его фигура говорила: вот я выбился из нищеты армейского офицера, кончил Академию, состою по Военно-судному ведомству; но все еще тяжело, когда-то штаб-офицерство! Тогда легче станет нам жить с моей большой семьей. А семья была правда немалая. Не очень-то помню его детей, но, когда мы приходили, неприятно было от спертости воздуха детской и какой-то общей, всей семьи, забитости. Книжки свои показывали дети. Книжки-то и врезались в память. Старинные, много были читаны, потрепанные. Главное, странно напечатаны: не дитя, а *диша*. Выходило *диша*. Тогда же я узнал, что в XVIII веке еще не было знака Т, а писали Ш. И произвело своеобразное впечатление. Как-то слилось с убожеством семьи. Вот так у бедных людей: *диша*. Что-то спертые, как воздух в ихних детских. Хочется отворить форточку. Нет-нет — не надо. Подальше от этой спертости, застарелости, забитости. Совсем не было чувства: нет, вот мы

не такие. Какое-то чванство. Совсем нет, а именно какой-то внутренний голос: не хочу, не надо, не дай-то Бог, чтобы с нами было так. Преследовало, словно угроза, это застарелое: *диша*.

А так дома красные томики, тисненные золотом Bibliothèque Rose <«Розовой библиотеки»>, и эти излюбленные книжки: «Le bon petit Diable» <«Добрый маленький чертенок»> и «Les mémoires d'un âne» <«Записки осла»><sup>44</sup>. Через семейство Фаминцыных как будто лучше, яснее, почти сознательно оценивались французские книги, и просто знание французского и немецкого, и скажу без обиняков, и та среда или тот слой общества, к которому мы принадлежали.

Да, Урусовы, Веревкины, Карцовы, Столыпины, Лермонтовы — там простор, там нет спертости. И когда я теперь, стариком, пишу эти строки, не боясь дешевого демократизма, мне кажется, что в душе ребенка — все в будущем, пророчество о себе, его едва пробрезжившее сознание. Не жизнь ведет и приказывает, а ребенок с малых лет пророчествует свою жизнь. Оттого при наших скромных средствах и, конечно, полном отсутствии знатности — кажется даже, что наша линия из всех Аничковых единственная мало-мальски светская, — словно сказочный перекресток оказался перед нами с братом еще детьми: или кое-как, без напряжений и усилий, хоть не опуститься и тогда — Фаминцыны, которые, разумеется, были такие же дворяне, как и мы, или — что? не опускаться, почваниться — и не убоюсь этого слова — и кое-какие усилия, чтобы это удалось...

<Конец 2-й тетради>

Скопье <Скопье> и Париж  
начато 4/XII 29

### **Обстановка и нравы**

Вот и вызвал из забытия мертвых и еле живых. А к тому времени, когда эти очерки, может быть, и увидят свет, не останется в живых и этих последних.

Как же жили больше чем полстолетия тому назад эти люди прошлого режима, безвозвратно ушедшего в даль времен, проклятого одними, а другими, напротив, восхваляемого, но, по существу, и для тех, и для других оставшегося неразгаданным?

Та по преимуществу военная среда, к какой принадлежали наши знакомые и друзья, была в Вильне пришлой. И это важно, потому что требования, предъявляемые к окружавшей обстановке, были минимальные. Удовлетворялись самые необходимые и считавшиеся необходимыми потребности. Только то, без чего никак нельзя. Найти подходящую квартиру значило куда-то въехать, где как-то можно было устроиться. И вот первое, самое простое: гостиная, столовая и кабинет, кроме нескольких внутренних комнат, спален, детских, шкапной, туалетной,

буфета и комнат для прислуги. Все это требовало простора. Располагались широко и, что составляет непреходящую особенность той среды, о которой здесь идет <речь>, никаких только или нарочито парадных комнат не полагалось. Над этим смеялись. Сколько бы ни было гостиных: одна, две, три, все были жилые. Только одна особенность, какую вывела последующая гигиена. Спальня считалась тоже жилой. И в ней, соответственно, мягкая мебель, рабочий столик, вообще в ней сидела хозяйка дома и даже принимала более близких знакомых. Кровати же обыкновенно были закрыты альковами или перегородкой.

Главная особенность самой мебелировки 70-х годов, еще преувеличенная в 80-х, выражалась в расточительной трате материй. Мода точно вторила потребностям текстильной промышленности, переживавшей медовый месяц своего фабричного производства. Низкие, мягкие, обитые кретонами, полушелками, репсами, без признака дерева кресла, диваны и пуфы, сидя на которых, надо было либо неестественно подгибать, либо вытягивать ноги, не зная, позволительно ли совсем в них развалиться, а главное убранство — тяжелые портьеры на окнах и дверях, с воланами, плиссе и подхватами, и все это еще отделанное бахромой с кистями и какими-то толстыми шнурами. Вместе с коврами на полу и коврами на стенах все это придавало какую-то подушечную приторность. Но надо отдать справедливость, что никогда не были так уютны гостиные, как именно в 70–80-х годах. От хозяйки дома требовалось особое умение расставить мебель. Моя мать это искусство проникла в совершенстве. Прежде всего никак нельзя было допустить, чтобы мебель стояла у стены. Вся выдвигалась на середку и расставлялась так, чтобы оказалось несколько, смотря по величине гостиной, отдельных *compartiments* <отсеков>, т. е. комбинаций диванчиков, кресел, столов и геридонов<sup>1</sup>, чтобы можно было несколькими людям рассестись для разговоров, никакой мебели не переселяя и отделяясь группами от других сидящих в той же гостиной. И все это должно было принимать жилой вид. Это значило, что на всех столах должны были лежать какие-нибудь вещи. Вообще гостиная должна была быть завалена не то что безделушками, а именно вещами. Тут входили в свои права и старинные вещи, альбомы, лампы, переделанные из масляных под керосиновые, подсвечники, канделябры, бюсты, пепельницы и спичечницы (на случай, что позволят курить) и, наконец и непременно, несколько книжек с вложенными в них причудливыми ножами резать бумагу, а то еще начатая работа хозяйки дома: какая-нибудь *broderie anglaise* <английская вышивка>.

На стенах, конечно, картины, и непременно масляными красками. Фотографии еще не приобрели права гражданства, и их развешивали только в кабинетах и спальнях. Самое же недопустимое — это новинка того времени — олеографии.

<sup>1</sup> Круглых столиков на одной ножке. — *Прим. ред.*

Если были замысловатые зеркала, напр<имер> венецианские, они тоже могли украшать гостиные. Однако артистизма не было вовсе. Природный вкус заменял художественное понимание. Так, вкус предписывал, что лучше придерживаться каких-нибудь старинных, по наследству доставшихся картин — какой они там школы, кто их знает? — чем что-нибудь современное, разве пейзаж. Вообще же градация такая: иностранный сюжет лучше русского, пейзаж лучше жанра; все, что постарше и оттого не так ярко красками, тоже; во всяком случае, что бы оно ни изображало, все старое гораздо приятнее. И необходимо прибавить: ничто, находящееся в гостиной, не рассматривалось. Гость или гостья должны были обращать внимание только на собеседника, даже осмотреться по сторонам считалось признаком дурного тона. И только уже пожилой человек, особенно если он слыл знатоком, мог себе позволить похвалить какую-нибудь вещь. Нечего и говорить, что для развлечения гостей в приличном обществе не полагалось заставлять гостя рассматривать альбомы или смотреть картинки в каком-либо издании.

Согласно с теми же правилами были устроены и кабинеты, и спальни, с прибавлением необходимого в кабинете письменного стола, а в спальне, кроме рабочего стола, еще туалетного, либо отделанного кружевами, либо старинного, с движущимся на шарнире зеркалом. Строги и холодны, только с одной деревянной мебелью, были столовые.

Но столовые принадлежали скорее к внутренним комнатам. Оттого считалось очень неудобным, если столовая прямо из передней. Да, кстати сказать, в той среде, в которой прошло мое детство, и у всех моих родственников хлебосольство, в смысле непременно угощения гостей, когда бы они ни пришли, вовсе не полагалось. Дневной чай в те времена еще не был принят, потому что обедали рано, от пяти до шести. Только вечерний чай — если кто-нибудь то, что называлось «заходил на огонек» — подавался немного тщательнее, и уж без чая гость или гостья уйти не могли. Хлебосольство же имело определенные градации, т<ак> ск<азать>, формулы, касаясь исключительно завтраков и обедов. Градации были такие: можно было «дать обед»; это, конечно, самое торжественное, и приглашения заранее, со сложными соображениями, кого с кем, когда, по какому случаю. Проще «пригласить обедать» обыкновенно с прибавкой «запросто» или, интимнее, «чем Бог послал». Следующая стадия хлебосольства, и она, пожалуй, и есть хлебосольство: когда кто-либо приходил в близкую к обеду пору, не дать ему заторопиться. Называлось это: «останьтесь обедать» и тогда прибавка: *à la fortune du pot* <чем Бог послал>. И это зналось. Естественно было подумать: «наверно оставят обедать» или наоборот: «хороши: обедать не оставили». Но вот высшее хлебосольство: «Вы, пожалуйста, прямо к обеду, мы обедаем в половину шестого». И готовили на лишнего. Были дома, где каждый день один-два посторонних.

Даже и еще такую формулу можно вспомнить: «Ваш прибор всегда Вас ждет». Завтрак или обед, разумеется, разницы — никакой. Только бы в урочные часы. И как можно меньше приготовлений.

Если широко жили, что касается количества комнат, то прислуги надо было много. При этом одна привычка, от которой, каюсь, до самого конца старого режима я не мог отвыкнуть. К столу непременно должен был подавать мужчина, «человек», как принято было говорить, строго избегая слова: лакей. Человек во фраке, а к столу в белых нитяных перчатках, только у военных заменялся денщиком в особой денщичьей форме, т. е. в сюртуке, похожем на офицерский, с черными костяными пуговицами и без погон. Когда-то отомрет этот предрассудок? Но в богатых домах ведь он твердо держится и до сих пор. Каким кодексом определено различие в функциях горничной и мужской прислуги? Однако я с тех пор, как горничным присвоен своеобразный костюм с кружевным передником и чепчиком, и они так нарядно и так отлично выглядят в элегантной столовой, все равно та традиция, в какой воспитаны одни только такие поколения, как мое, и, в сущности, ничтожная кучка людей такого происхождения, какое одним словом и не определить, эта традиция все-таки остается непоколебимой и в частных домах, и, что важнее, в гостиницах. Кажется, уж всего достигли женщины: всех прав, и высшего образования, и адвокатства, и министерских постов, вагоновожатых на трамваях и депутатов в парламентах, но чести подавать за торжественным или с претензией на торжественность обеда или завтрака так до сих пор и не сподобились.

В те далекие времена горничная — то, что называлось «ходила за госпожой». Без горничной было трудно. Женщинам, даже девушкам, еще предстояло искушаться в том достижении, которое называлось «научиться одеваться самим». Они сильно отстали в этом отношении от мужчин. Мы с братом едва ли составляли в этом отношении редкое исключение, а нам было с детских лет приказано не прибегать к услугам приставленного к нам человека. Запрещалось даже дать ему стянуть сапоги. Почему женщинам нужны были горничные, обыкновенно, дразнясь, указывалось на корсеты: где, мол, самой затянуться. Я приведу другое. На улицу в открытых башмаках не полагалось выходить. Для этого предназначались — и долго еще потом — ботинки на пуговицах. И вот спрашивается: как их надеть<sup>1</sup>, собираясь со двора? Платья длинные, под ними крахмальная юбка, корсет мешает нагнуться, а еще — и это очень существенно — вероятно, от такого ухода во время родов большинство женщин того времени наживали уродливо большие животы. Отсюда обычная процедура: дама или даже барышня сидит в спальне на кресле, приподняв свои юбки почти до икр, и перед ней на коленях

<sup>1</sup> Грамматическая норма XIX в. оставлена. — *Прим. ред.*

горничная крючком застегивает пуговичку за пуговкой ботинки модной тогда бронзовой кожи. А сколько было всяких кружевных, накрахмаленных с лентами и *broderie anglaise* <английской вышивкой><sup>1</sup> необходимых принадлежностей женского туалета? Все это надо было умело и осторожно и замыть, загладить и накрахмалить. Платье состояло из корсажа и юбки, и когда был снят корсаж, оказывалось, что на шее и на руках манишка и рукавчики, прикрепленные на плечах к рубашке. Воротничок, манишки и манжеты на рукавчиках — крахмальные, как у мужчин, но только более причудливой формы. Да наконец достаточно посмотреть на модные картинки того времени, чтобы бросилось в глаза, сколько материи наворочено, намято, превращено в буфы, воланы, плиссе — и что еще?! — совсем под стать и к модной тогда мебели. Все это надо было вытрясти, вычистить, где надо зашить, выгладить! Одни подола, да еще шлейфы чего стояли, которые не могли не набирать пыли.

Никаких косметик, румян, ни цветной пудры приличные женщины — о девушках что и говорить — в то время не употребляли. Разве пудра, да и то вовсе не на лицо, а на плечи и руки, когда одевали открытые платья. Но прически?! Мало своих волос, у кого их не доставало, добавлялись еще фальшивые косы. Опять, все это надо было приладить на шпильках, заколоть, укрепить наколку... Как было не просиживать чуть не час перед зеркалом за своим туалетом, с горничной, которая, если и не умеет причесать барыню, то то, то другое подаст, подержит, поможет. Но ценились опытные горничные. Они были прислугой особо чтимой: кушали от господского стола. Такая у матери была горничная Генриетта.

Однако все это — внешнее. Все это только обстановка. А внутреннее содержание, чем жили эти люди, кроме служебных обязанностей, но прежде всего, о чем же разговаривали между собой, раз гостиные того времени так удобно были устроены, особенно для разговоров?

Разговор должен был быть светский, т. е. прежде всего не о своих или чужих делах, не о прислуге и домашнем обиходе, не о службе и ни в коем случае не биографического характера. Когда я делал визиты профессорам в Киеве, меня поразило, сколько я выслушал от них рассказов о ходе разных болезней их самих, их детей и даже их жен.

Но что же тогда остается? Политика, литература? Ну да, и о политике, и о литературе, но больше всего непринужденной болтовни, немного злословия, сколько выйдет остроумия, а для этого так необходимо и посплетничать. Основное правило светского разговора — пустота, она обязательна.

Впрочем, вовсе этим не исчерпывалось. Доказательством служит сборник «Между нами». Но о нем в другом месте и в другой связи.

<sup>1</sup> «Английская белая работа» — вышивка ришелье или гладью белыми нитками по белой ткани. — Прим. ред.

### Мои игры

До сих пор записываю все о взрослых. И именно взрослые и то, что от них слышал, чаще всего, разумеется, мельком, все это только и запомнилось. Из детей старшие приятели брата, очевидно, тоже гораздо больше интересовывали меня, чем сверстники, о которых я ничего не сумел сказать, потому что ничего, кроме имен, не осталось в памяти. Я рос в Вильне один. Особенно с тех пор, как брат поступил в гимназию, разница лет между нами стала казаться огромной. Правда, меня водили к другим мальчикам, но мне это было скорее обузой, чем развлечением.

Я играл один, самостоятельно и вдобавок без игрушек.

Игрушек вообще у нас в доме не водилось. Забывали или не хотели мои родители их покупать, но только и пристрастия к ним, интереса к игрушечным магазинам, привязанности к какой-нибудь игрушке, ничего подобного я никогда не испытывал. С игрушками даже связан такой случай, оставшийся для меня незабвенно противным. И сейчас неприятно будет о нем рассказать.

Взяли нас как-то родители в гости к одним людям, которых звали Шванебах<sup>45</sup>. Отец семейства был генерал-майор. Чем командовал или на какой должности, не знаю. Вероятно, мой брат тогда еще не поступал в гимназию, потому что нас обоих отправили в детскую к единственному сыну этих Шванебахов, такому же самому мальчику, как я, но только рослее. Возрастом он больше подходил ко мне. Детская была благоустроенная, с ковром, чтобы играть, и, главное, полным полным разных игрушек, аккуратно прибранных, и ни одной ломаной. Казалось бы, раздолье. Вот мы и расположились с братом не то играть, не то рассматривать игрушки. Не тут-то было. Что мы возьмем в руки, маленький Шванебах отбирает и смотрит букой: мое, мол, не ваше, не смейте мои игрушки трогать. Даже в угол забился и за спину себе совал игрушки, которые от нас одну за другою отнял. Удивились мы с братом и подумали: нехороший мальчик! И с этого времени стала у нас неприязнь какая-то, вроде отвращения. Насчет того, что *la propriété c'est le vol* <собственность — это кража>, только гораздо позднее, мы узнали из «Обрыва» Гончарова, но все-таки, смутно, как будто забрезжило: не такое уже священное это право собственности, а оно связалось наглядно и вещественно именно с игрушками.

Я играл главным образом вещами матери. Особенно я любил ее принадлежно<сти> письменного столика. Они были желтой бронзы. Больше всего мне нравился желобок на двух низеньких ножках, чтобы класть перья и карандаши. Но доставалось и туалетным вещам, включая браслеты и даже башмаки, тогда легко налезавшие на мои ноги. И никогда не попадался; не помню, чтобы что-нибудь сломал или не положил на место. Раз только отец меня неожиданно поймал на месте преступления. Как раз я напялил браслеты и башмаки. Отец сделал вид,

что принял меня за даму и хочет поцеловать мне руку. Я так переконфузился. Играл ли после этими вещами? Едва ли. Но отец очевидно не понял, в чем состояла моя игра. Может быть, и все, что ему надо было — самое простое, чтобы я оставил в покое драгоценности. Однако в том-то и дело, что и я сам ни тогда, ни теперь, никогда совершенно и не в состоянии был бы сказать, во что я играл. Какие-то позы принимал перед зеркалом, вертелся, зачем-то раздевался чуть не догола.

Про меня существует такой рассказ. Несколько раз я его слышал от матери. Будто однажды я исчез. Ищут, ищут, и там и сям, зовут, беспокоятся: нет и [нет] мальчика. Куда девался? Никак не сыскать. Нет и нет. А мы жили в то время за Остробрамой. Как раз против, через улицу, — Крыловы. Там увидели кутюрьму и из сада слышали — дело было, очевидно, весной или ранней осенью, — как называют мое имя. Тогда и дали знать от Крыловых:

— Что вы Женю ищете, да он вон на дереве голый сидит.

Ну конечно, приказали лезть, и было решено, что я играл в дикого.

Уж не знаю, действительно ли так было. Не помню, но что я подолгу сживал на дереве и почему-то радовался голый, это верно. Высокое, развесистое было дерево в саду, принадлежавшем к нашей квартире за Остробрамой. И сад шел от улицы вверх по сколу горы. Дерево росло на урез и оттого, как заберешься на него, высоко-высоко. Заменяло мне это дерево то кавказское, любимое мое кизилевое дерево в Коджорах. Но чтобы я именно в дикого играл, это вовсе не достоверно. Может быть, и выходило, что в дикого, даже сам себе давал такое объяснение, но замысел, почин, первоначальное усилие воображения было совсем не какое-нибудь сознательное изображение дикого. Отнюдь нет.

Сколько раз и на лекциях, и черным по белому я отзывался на «*Spiele der Tiere*» <«Игры животных»> и «*Spiele der Menschen*» <«Игры людей»> Грооса<sup>46</sup>. Каждый раз я соглашался, что в основе игры лежит подражание последним действиям и игра есть «действие», а его биосоциологический смысл в упражнении. И не стану спорить. Но, вспоминая эти свои игры с материнскими вещами перед ее большим зеркалом с пола, никак не могу им дать такое объяснение. Оно безнадежно рационалистично. Мне совершенно ясно, что в моих играх, если в них и оказывался какой-то замысел, если они что-то изображали, то отнюдь не сначала или заранее. Напротив. Замыслу предшествовало движение. Прежде всего какие-то позы, жесты, т. е. какое-то действие, в конце концов бессмысленное. Мысль тут совсем не участвовала. Может быть, только одни рефлексы направляли эти жесты, движения, позы. Вернее всего, что именно так. И только после, как некий придаток или некое полусознательное и смутное рационализирование поступка, возникали ассоциации, а отсюда толкование: это, мол, изображает то-то или, вернее, я — то-то. Процесс, схожий с народными этимологиями. Крестьянку-мо-

лочницу научили обращаться с сепаратором. И она слышит: сепаратор, сепаратор. Но ей знакомее слово «аппарат», и она видит, что это слово подходит, тогда сепаратор будет называться «сапарат». Также точно почему я раздевался голый, это другой вопрос, но я знал, что голыми ходят дикари; значит, я играю в дикаря.

Отличный пример такой психологии игры я случайно подметил у сына, когда ему было лет пять, а то и меньше. Анна Митрофановна останавливала меня каждый раз, как я, смеясь, вспоминал эту сцену. Ей казалось, что это унижительно для Иги. Но никогда он мне не был так близок, как тогда. Это происходило зимой на Жданях. Ига в одной слишком короткой рубашонке бегал по детской, вскакивая то на одну кровать, то на другую, а в руках держал какой-то самодельный кнутик. Он делал вид, что кого-то им бьет. И он приговаривал: *le bébé terrible!* <ужасный ребенок>. Так, по-видимому, и называлась игра, но по секрету. Кажется, только сестра Вета смела понимать смысл его беготни. И вот я слышу:

— *Il donne un coup à sa mère, sur le dernière, et il s'enfuya* <Он ударил свою мать последним и убежал>.

Тут самое беганье и игранье кнутиком, несомненно, предшествует этому нелепому объяснению смысла игры. Только не обошлось и без личного вклада. *Le bébé terrible*, конечно, сам Ига, и таким он себя и играл. Действо было лирико-драматично.

Вот еще одна вспоминается игра.

Это уже на Завальной улице, т. е. гораздо позже. Мне, пожалуй, уже стукнуло десять. Игра была вдвоем с Диной Лермонтовой. Содержание вполне и, так сказать, строго продуманное: играли в корабль. Для этого клались плашмя стулья из столовой, а к одному из них привязывалась половая щетка, изображавшая мачту. Оставалось только усесться в середину между стульев, т. е. бортом корабля, и плыть. Разумно и, может быть, служило нам с Диной упражнением в нашей будущей деятельности мореплавателей. Но вот зачем самое интересное место игры составлял тот акт «действия», когда, покрывшись с головами пледом, мы ложились, притворяясь, что спим?

Однако вполне готов допустить, что я плохой наблюдатель детских игр, потому что и участник в них тоже был из рук вон несообразителен и бездарен. Никогда я не умел понять игры, когда участвовал в ней с большим количеством детей.

Меня водили к сыновьям попечителя учебного округа Георгиевского. Целые воскресенья происходила беготня по большой светлой квартире, и я помню, как чья-то гувернантка, русская девушка, восторгалась игрой мальчиков, противопоставляя ее тому, как играют девочки. Но никак не мог понять, во что и зачем мы играем, и мне совсем не было весело, а маленькие Георгиевские оставались вовсе посторонними. И то же самое в дружеском доме Веревкиных, куда, помнится, всегда ходил с большим удовольствием. Веревкины занимали большой особняк

с обширным и запущенным садом где-то в стороне Закрета. Весной и осенью играли в разбойники. И старшие, сам Петя и мой брат, увлекались, бегали, осуществлялся какой-то замысел. Я так и не понял смысла того, что происходило, и бродил и бегал безучастно и бессмысленно.

Оттого я, может быть, и не люблю своего детства. Мне кажется, что не был симпатичным мальчиком. И никто меня не любил.

В сущности, моей единственной игрушкой и единственным товарищем игр был породистый, коричневый, без отметин, английский понтер Эми.

Эми значит: купил. Отсюда ясно, что появилась у меня собака, когда меня уже стали учить по-латыни и я ее купил маленьким щенком, на свои собственные деньги. Но Эми был со мной не только в Вильне, и о нем речь впереди.

### Три гувернера

Чтобы меня воспитывать за время службы моего отца в Вильне, трое взрослых мужчин потратили каждый по году жизни. И я говорю: меня, потому что брат за эти годы успел уже дойти до четвертого класса гимназии. Значит, ему гувернеры были вовсе не нужны.

Капитализм есть факт, а коллективизм — теория. Вот положение, недавно формулированное в книге, имевшей большой успех. Но что такое коллективизм, из-за немедленного осуществления которого калечится величайшая держава мира? Коллективизм — теория, это одно, а коллективизм как социологический процесс совсем другое. Может быть, покажется странным, если я скажу, что коллективизация народного образования в принципе уже осуществлена в странах, где коллективизм как теория играет в жизни еще очень малую роль. Страны, которые я имею прежде всего в виду, — Франция, Германия и молодая Югославия. И в этой последней этот процесс коллективизации особенно ярко выражен. В нынешней Югославии совсем нет ни частных, ни церковных учебных заведений. Все — государственные. В нынешней Югославии все учебные заведения от низшей школы, т<ак> наз<ываемой> основной, до университета включительно — бесплатны и находятся в ведении Министерства народного просвещения. На каждой индивидуальной семье лежит лишь обязанность питать и одевать своих детей за все то время, что они учатся, и то «студенческие дома» коллективизировали прохождение через университеты. Значит, что же, собственно, остается до полной коллективизации? Гимназические общежития сами собою навязываются вслед за университетским. Так же точно и организация внешкольного времяпровождения гимназистов. А дальше еще шаг, и еще ряд лет, и ученики лучших школ, с двенадцати часов дня предоставленные себе, улице и родителям, неизбежно вызовут попечение, как в смысле физического воспитания: пищи, гигиены, жилищ, так <и> духовного, т. е. игр и внешкольных занятий. Низшая

школа сама собою и неизбежно стремится и должна стремиться стать тем, что мы, русские, уже осуществляем в Югославии — детскими домами, где ребенка приводят утром, чтобы взять домой около 4 ч. вечера. Последнее самое сложное, связанное с физической заботой матери с питанием младенца.

Самый яркий пример воспитания индивидуалистического, вплоть совпадающего с принципом капитализма, мне представляется то, какое получил сын богача А. А. Половцова<sup>47</sup>, Саша Половцов<sup>48</sup>. В лице известного тогда преподавателя-латиниста Мусселиуса<sup>49</sup> было основано особое Министерство народного просвещения. Он заведовал преподаванием и приглашением учителей. Однако и тут пришлось посчитаться с коллективизацией: и программу пришлось проводить, утвержденную Государством Российским, и даже сначала в гимназии от 6-го класса, а после в Училище Правоведения все-таки заменить домашнее воспитание школьным. Домашнее, т. е. индивидуальное, правда, вновь пригодились, но это уже не так важно: в офицеры Конного полка Сашу Половцова, отбывавшего там повинность, опять готовили частные учителя.

В моем детстве коллективизация народного образования еще остановилась на той же стадии своего развития, на какой она была при основании казенных учебных заведений: народные школы не были согласованы в своих программах со средними учебными заведениями, кроме этого, они никак и ни в коем случае не были предназначены для зажиточного класса.

И вот, когда моему брату минуло 9 лет, а мне 6, согласно тогдашним понятиям о целомудрии, с гувернантками было покончено. Нас должен был начать воспитывать мужчина. Попробовали было дядьку, артиллерийского фейерверкера, но он пробыл только несколько месяцев. Французский язык, французский язык! Его знание, и знание совершенное, без ошибок в разговорной речи и без малейших запинок, при этом с тем особым русским произношением, какое и до сих пор французы называют: *parler sans accent* <говорить без акцента>, такое знание считалось в той же мере обязательным и совершенно необходимым, как обладание руками и ногами. Кто не говорит по-французски — калека. Мы с братом уже тогда не были калеками. Но как для развития рук и ног нужны упражнения: гимнастика, танцы, верховая езда, фехтование, плаванье, так и для французского языка. Какое же тогда могло возникнуть сомнение в необходимости французского гувернера, и гувернер явился. Через кого и каким образом он был вытребован из Франции — не знаю, но во всяком случае его не нашли на месте, в Вильне. Он был выписан прямо с места, из-за границы, был самый что ни на есть выводной, как бывают выводные чистокровные жеребцы и кобылы.

Этого выводного и чистокровного француза звали Дюга. Кто определил, какие были у него данные, чтобы стать воспитателем русских мальчиков? Откуда было его умение учить языку, который он знал только потому, что не знал никакого

другого? Нам пригодится аналогия с воспитанием Саши Половцова. Большие капиталистические предприятия необходимо прибегают к услугам инженеров, юрисконсультов, финансистов. В этом зародыш коллективизации. Индивидуальный почин неминуемо подпадает под нее, а когда государство либо считает нужным направить производство по какому-нибудь им назначенному руслу или, проще, при несостоятельности, расточительности владельцев, при особенно острых кризисах берет предприятие под опеку, наконец, когда является потребность в основании треста, во всех этих случаях и наступает, и все усиливается процесс коллективизации. Мусселиус, заведовавший воспитанием Саши Половцова, представлял собою зародыш коллективизации или по крайней мере его суррогат, может быть, правильнее сказать, компромисс с коллективизацией образования. Напротив, малые предприятия остаются всецело коснеющими в индивидуализме и индивидуальном почине. Это мой отец решил, что Дюга, не знавший никакого языка, кроме родного, будет ему превосходно учить. Это отец решил, что Дюга имеет все данные, чтобы стать воспитателем.

Ошибся ли отец? Я не хочу этого сказать. Через несколько месяцев я заговорил по-французски, может быть, даже лучше, чем сейчас им владею. Помнится, что у Карцовых, строгих судей, мое знание по-французски пользовалось большим успехом. Говорю о себе, потому что брат вскоре поступил в гимназию, и Дюга был главным образом моим гувернером. И о нем как о воспитателе я не сохранил в памяти ничего плохого. Ничему худому он не учил. И привязался к нему. Раз именно у Карцовых моя мать что-то не совсем хорошо о нем отозвалась, я стал горячо его защищать и заслужил этим большое одобрение от обеих Карцовых, и матери, и дочери.

Дюга был уже пожилой пехотный капитан войска Наполеона III и был ранен во Франко-прусскую кампанию. Был ранен в ногу, и рана так и не зажила. Я несколько раз видел это кровавое отверстие на его волосатой голени. А был весь волосатый, с черной курчавой бородой, приземистый, темный и едва ли особенно опрятный. Кто его знает, как это он стал гувернером. Но я часто слышал от него, что какое-то большое зло ему сделала его жена, дурная женщина, и будто не из-за нее ли он уехал из Франции. Точно даже боялся, как бы она не явилась в Вильну. Что-то сорвалось в жизни Дюга, и как-то не задалась его военная карьера. А никак не мог забыть ни свое капитанство, ни в особенности войну с немцами, которых звал, конечно, прусаками. И помнится, гуляем мы по Закрету, и только о том и разговоры: прусаки, Бисмарк, как дошли до самого Парижа, как изменил Базен. Ему, его сдаче Седана, приписывал мой Дюга поражение храбрых французов и рассказывал о *Francs-Tireurs*'ах <свободных стрелках> и их подвигах. Горел позором потерянной кампании и ненавистью к Бисмарку — главное: Бисмарк! — и я с ним горел, и вместе мы с ним мечтали о реванше:

— On les aura! <Мы их покажем!>

Нет, не дожидаясь до той светлой минуты, когда уже только я один — и ведь во французской форме, французским лейтенантом, — слышал, как радуются и сам радовался:

— On les a eux! <Мы им показали!>

С тех прогулок с Дюга по Закрету каждый раз, как вижу на картоне папиросной бумаги известную картинку «Les drenières cartouches» <«Последние патроны»>, вспоминается старый капитан Наполеона III, и бьется сердце, и так много говорят эти поломанные ружья — чтобы не достались неприятелю! — и фигура солдата в красных штанах и измятом кепи, которого ждет позор сдачи в плен. С тех пор, словно какое-то пророчество, связалась моя судьба с Францией и не может развязаться узел.

Но Дюга скоро сменил другой гувернер, тоже для французского, но совсем не похожий на Дюга и, в сущности, другой национальности, потому что он был швейцарец, Мюллер, с ударением, разумеется, на последнем слоге. Сын разорившегося банкира, пустой малый, еще молодой и, по-видимому, без всякого образования, он был весь тело, мышцы, руки, ноги, физика. Времена своего детства, когда родители были богаты, он характеризовал тем, что никогда не пропускал ни одной кондитерской; в каждой в те блаженные времена мог всласть наесться сладких пирожков. И жаловался, что у нас его плохо кормят. Мало ему. Когда моя мать услышала об этом, она раз, помню, говорит:

— Et bien vous allez avoir à chaque repas en plus un bifteck <Ладно, у вас к каждому обеду будет еще дополнительно бифштекс>.

— C'est ce que me convient, madame <Это меня вполне устраивает, мадам>.

И он ел свой бифштекс в дополнение ко всем блюдам, и, казалось, что этим как-то не то что наслаждается, а обильно смазывается, как машина, его сильное, мускулистое тело. Я не был на его стороне, и разговор этот с матерью о бифштексах мне совсем не понравился, но, казалось, что же делать? Уже такой аппарат, не человек, а именно какое-то сплетение всех тех частей и органов, из которых состоит человеческое тело, и вот не заржавеет, не заскрипит, не зацепится, а, как локомотив, тянет поезд и весь в жиру поворачивающий колеса поршень!

Мюллер был с нами, когда мы проводили одно лето на море по<д> Ригой в Дуббельне. Там было несколько знакомых: Лермонтовы, Панютины, но почему-то особое впечатление произвели на меня два брата, больших франта, князя Радзивилы, Доминик<sup>50</sup> и Константин<sup>51</sup>. Особенно первый. Про него говорили, что он ухаживает за г-жей Панютиной и они куда-то ходят ловить рыбу, но маленький Панютин, мальчик меньше меня, нет-нет да прибежит туда, и это им мешает. Старший, Константин, будто позднее женился на дочери Blanc <Блан>, содержателя рулетки в Монте-Карло, и стал богачом. Вообще от пребывания

в Дуббельне у меня сохранилось какое-то легкомысленное, слишком разбитное впечатление, и оно слилось с картинками Гревэна<sup>52</sup> из «Journal pour rire». Дамские ножки, дамские туалеты, ухаживанья, купальные костюмы, казино, и ко всему этому так подходил наш легкомысленный гувернер, хотя, конечно, в светских развлечениях никакого участия не принимал.

Мюллер предводительствовал целой кучкой мальчиков старше меня, и я за ними только увязывался, не желая проводить время с дамами, как другие маленькие, или с девочкой Диной Лермонтовой. Мальчики, кроме моего брата, были следующие: мой двоюродный брат Митя Козин и Миша Лермонтов, оба пажи еще общих классов. От них на пляже во время купанья в мужские часы я и узнавал о похождениях обоих князей Радзивилл, пока Мюллер, красуясь собой, далеко уплывал в море и возвращался назад самодовольный и самоуверенный, чтобы опять уплыть, скрываясь далеко-далеко в серых, орошившихся водах Балтики. Мы не восторгались морем с его однообразным, беспокойным набеганием волн на скучный песчаный берег. Всем нам оно осталось чужое, даже, можно сказать, непонятное. И не сумел ни приохотить к нему, ни по-настоящему учить нас плавать слишком занятый собою Мюллер. Зато настоящая для нас была радость, когда нас брал Мюллер на реку да кататься на лодке. Далеко, свободно выгребая на тихой реке, можно было плыть между низких берегов до соснового леса. Тут родною казалась не серая, а прозрачная и не враждебно соленая речная вода. Пожалуй, только эту реку да и вспоминаю с удовольствием от лета на морских купаньях.

Но Мюллер считал себя великолепным не только мускулами, выносившими его на хребты волн. Он порывался давать светские наставления, чего, по-видимому, никто от него не ждал. Особенно искусным он себя считал в поклонах и объяснял: вот так надо поклониться даме, особенно когда хочешь ей понравиться, вот как, входя в гостиную, а вот еще какой поклон надо отвешивать особенно важным и знатным людям. При этом он очень забавно выгибал талию и особую элегантность усматривал в том, в какой мере вытаращиться при этом задняя часть тела. А когда доходило дело до поклона знатному человеку, тогда вдобавок еще обе руки опускались висеть, подобно полотенцам, которые повесили сушить, но при этом кисти рук надо было держать, повернув ладонями на себя. И эти его пустые разговоры еще усиливали чувство легкомысленной скуки. И навсегда именно с этого лета ненавистны мне остались всякие дачи, курорты, купанья, воды.

Мюллер исчез внезапно до возвращения в Вильну. И не один. Вместе с ним и французенка, гувернантка Дины Лермонтовой. Роман. Не только Доминик Радзивилл не терял времени. Только роман Мюллера и французской гувернантки осложнился тем, что Александра Федоровна Лермонтова заметила, как ее сын Миша пробирался к гувернантке или, что не меняет дела, она к нему.

За Мюллером последовал гувернер для более серьезных педагогических заданий.

Настало время учить меня по-латыни. Почему-то было решено, что я поступлю прямо во второй класс гимназии. И вот однажды я оказался в нашей с братом комнате, в квартире на Завальной, с новым, только что прибывшим гувернером, который читал мне сказку из «Тысячи <и> одной ночи» в немецком переводе. И по-немецки я уже знал, и так же точно, как не помню, когда и при каких обстоятельствах я выучился по-французски, совсем не помню себя не знающим и языка тех победителей, о реванше которым мы мечтали с Дюга. Новый гувернер — Эмиль Давидович Шеве<sup>53</sup> — сразу принялся за дело, и я только не понимал, при чем тут сказка из «Тысячи и одной ночи», а главное, почему он вставляет какие-то исковерканные русские фразы с очень сильным польским акцентом. Одно слово он все усиленно повторял для моего вразумления по-польски, хотя я давно понял и только думал, не сказать ли ему, как это будет по-русски.

Эмиль Давидович Шеве — совсем другое дело, что оба его предшественника. Тут сразу все оказалось совершенно ясно: все зачем и для чего.

Эмиль Давидович тоже был участник Франко-прусской войны. Но, точно извиняясь, он объяснил, что он из Кенигсберга, и в кампании участвовал, привлеченный в ландвер. Он был артиллерист. Но только один раз стрелял по французам. Какая-то виднелась вдалеке белая лошадь. Дали залп. Лошадь исчезла, но это совершенно незначительный эпизод, а до Бисмарка и славы Немецкой Империи ему в данном случае никакого не было дела. Он прибыл учить меня по-латыни, а походя — и едва ли не это было главное — учиться самому по-русски, дабы выдержать соответственный экзамен и зачислиться к нам в России учителем немецкого языка. Это ему и удалось. Во II-й Гимназии он даже был моим учителем. И вот пошло у нас все превосходно. Никаких теплых чувств он в моем сердце по себе не оставил, но латинским неправильным глаголам выучил меня назубок, причем я не остался в долгу, так добросовестно и с большим удовольствием учил его по-русски, гораздо успешнее, чем он меня по-немецки. И, увы, не вспомнил об этом Эмиль Давидович, когда в седьмом классе II-й Гимназии вкатывал мне тройки по-немецки, что явно свидетельствует о врожденной людям неблагодарности.

Эмиль Давидович был человек важный и с положением. Он получал тысячу рублей в год жалованья на всем на готовом, т. е., пожалуй, столько же, сколько теперь я в качестве ординарного профессора Скопьянского полуфакультета. И памятна мне его некрасивая синяя шуба, подбитая какой-то рыжей лисицей. На голове большая бобровая шапка. В таком виде он катался со мной на коньках.

Что касается же немецкой цивилизации, то единственное, что я от него узнал, это существование в Вильне немецкой колонии. Немцы же любят музыку и хоровое пение. Оттого у них существует свой Music Verein <Музыкальное общество>, и там Эмиль Давидович поет баритоном. Он бывал в самом сенти-

ментальном настроении, когда там побывает накануне вечером. И вспоминал, как прекрасно они пели:

Oh wie wohl ist mir am Abend,  
mir am Abend,  
Wenn die Glocken läuten.  
<О как хорошо вечером,  
вечером,  
когда звонят колокола.>

Но мне гораздо больше нравилась песня, содержащая рассказ о каких-то чертях, и какие они оказались глупые, но —

Du sagte Pipifax der kleine.  
Ihr seit dumm wie Bonenstroh  
Ich allein, ja, ich alleine  
Bin ein Teufel comme-il-faut.  
<Вы сказали, Пипифакс маленький.  
Ты тупой как солома,  
Я один, да, я один  
Дьявол комильфо.>

В чем выразилась комильфошность маленького задорного чертика Пипифакса, я так и не дознался. Это осталось упущением в моем воспитании. Но я все-таки сохранил полный восторг перед Пипифаксом и полное презрение ко всем другим.

В конце своего пребывания у нас Эмиль Давидович женился на очень некрасивой немке, и когда заходил через несколько дней после свадьбы, я слышал его разговор с моим отцом:

— Es ist alles so rein und so nett <Все так чисто и так приятно>, — говорил Эмиль Давидович.

И я, уже приобретя довольно глубокое знание жизни от рисовавшего мой портрет будущего художника Сегая, понял, что дело шло о впечатлениях Эмиля Давидовича от его первой ночи и о том, насколько она ему показалась прекраснее, чем те случаи, когда он холостым отправлялся к публичным женщинам. Отец мой как-то рассеянно слушал признания педагога своего сына. Как будто была даже какая-то неловкость. Едва ли отец считал себя вполне достойным такой немецкой откровенности. Мне, по крайней мере, подумалось, что, пожалуй, лучше не говорить таких вещей о своей подруге жизни и матери будущих детей. Но это, может быть, тоже пробел в моем воспитании, не восполненный Эмилем Давидовичем.

## Два приключения

Действующие лица — Эмиль Давидович, мой пойнтер Эми и я.

В одну из наших прогулок за Клубом, там, где начинаются холмы и сосновые перелески, интерес которых мне открыл Сегаль, я отбежал к урезу песчаного обрыва над самой речкой, окаймлявшей Замоктовую гору, теперешний городской сад. Под ногами песчаные уступы, похожие на скалы. Ну, конечно, надо потребовать спуститься вниз. Решено и — с уступа на уступ. Забавно и весело, что эти уступы точно живые. Зыблется мягкий, желтый, мелкий песок. Иногда с ним вместе сползаешь вниз. Но вот как-то оказался на одном таком уступе и под другим, нависшим над головой. Ни вправо, ни влево. Отрезан. С обеих сторон песок сполз крупным скатом. Даже Эми не мог до меня доскочить. Все пространство, на котором я стою, меньше квадратной сажени. Ни шагу не могу сделать. А там, под обрывом, довольно далеко, каменистые берега речки. Упадешь — непременно разобьешься. Того и гляди и до смерти. Опасность явная. Еще если плавным оползем рассыплется подо мною песок, тогда и я плавно и мягко мог бы скатиться без всякого ушиба. Но возможно и то, что резко, сразу оторвется мой уступ, тогда уж лети прямо на камни. Мне, однако, представлялась всего хуже — третья возможность: так продержится, не трогаясь, мой уступ, и я на нем один, сколько дней и ночей! Потом когда-нибудь найдут труп умершего здесь голодной смертью мальчика.

Кричу. Никто не отзывается. Ведь вижу вдалеке, как пожарные поят в речке лошадей. Не слышат или не хотят помочь. Потом я узнал, что мой желтоватый летний костюм сливался с желтизной песка, и я был невидимкой. Слышат пожарные детский голос, а где? откуда?

И Эми исчез.

Но он-то и был героем дня. Мы очень несправедливы к животным. Непременно — или инстинкт, или просто — недоверие. Не хотим признать самого обыкновенного и настоящего ума. Точно обидно. Зачем как у нас? Эми, как я потом узнал, бросился искать Эмиля Давидовича и лаем, прыганьем привел его на урез горы. Только Эмиль Давидович не мог понять, в чем дело, потому что нависший над моей головой уступ мешал меня увидеть. Вернее всего, именно лай не унижавшегося Эми гораздо лучше, чем мои крики о помощи, обратил внимание пожарных, наконец разобравших, что случилось.

Тогда пожарные достали канат, стали сами подыматься по уступам и наконец забросили мне конец, уцепившись за который, я сбросился со своего неприступного утеса и был втянут к пожарным, к великой радости Эми. Он уж, конечно, был тут как тут, суетился, волновался, только что не давал советов. Зато, когда состоялось мое спасение, сколько благодарности он выказал пожарным, скакал им на грудь, терся около них, и мне тут досталось, потому что не раз лизнул меня

прямо в лицо, чего я терпеть не мог. Но что поделаешь? Собачья участь. И за свое участие Эми наверно только слышал это грубо несправедливое:

— Пошел ты вниз. — Но собаки не обидчивы или редко когда.

Через час мы с Эмилем Давидовичем уже спокойно сидели за обедом, в нашей столовой на Завальной улице.

И похождение мое обсуждалось, только выделив следующее, единственно важное: дал ли Эмиль Давидович пожарным на чай. Раз — да, значит все благополучно.

Жаль, что я не стал знаменитым альпинистом!

В другом происшествии действующие лица будут появляться по мере развития действия.

Приезжал однажды в Вильну дядя Ваня — Новосильцов. Московский родственник и сам прирожденный москвич. Этим многое сказано. Прежде всего от чистого сердца перецеловал и обнял нас всех, так что не вздохнуть. Все его родственные чувства излились на нас, как роса в ясное, теплое летнее утро. И, разумеется, весь дом был полон им, его любовью к нам, его рассказами, его ни на минуту не останавливавшейся кипучей деятельностью. В связи со всем этим — подарки. Подарки, опять-таки, не какие-нибудь, это были подарки из Москвы, значительные, не безделушки какие-нибудь, а все вещи, имеющие все три значения древней мудрости, т. е. помимо реальной ценности, еще и моральную и, наконец, метафизическую. Первое место и занимало в них ружье для нас, детей, настоящее, стреляющее настоящими патронами ружье. Ну, разумеется, монтекристо. Тогдашнего образца эти ружья отличались толстым шестигранным стволом с прямыми нарезками и высоким неуклюжим курком. Мальчикам пора научиться обращаться с оружием, и первый шаг — стрелять в цель. Неопишуема была, разумеется, радость нас обоих, брата и меня. Ну что за прелесть, что за славный и симпатичный наш дядя Ваня! И навсегда осталось это чувство, твердо и неизменно до самой его смерти. Вот уже и метафизическое, объединяющее воедино, а не разъединяющее значение этого детского ружья.

Метафизическое значение ружьяца, собственно, и было преобладающим. Во-первых, для нас с братом оно навсегда осталось подарком дяди Вани. Иначе и не оценивалось, а во-вторых — приключение.

Стали мы, т. е. брат, Эмиль Давидович и я брать с собою ружьецо на прогулку в Закрет. Стреляли и так и эдак. Прицелившись в галок, попадали в то или иное дерево, еще в реку стреляли. И вот осенило брата. Он стоял в ту минуту у самой воды, а Эмиль Давидович наверху, на высоте обрывистого берега. Брат возьми и прицелься в гувернера.

— Эмиль Давидович, я выстрелю.

— Стреляйте!

И самое необыкновенное в этом происшествии было именно это: стреляйте. Как оно могло вырваться? Правда, расстояние между братом и Эмиль Давидовичем было не малое: шагов пятьдесят, а брат ведь стрелял вверх. Не долетит? А если долетит? Как бы ни было: стреляйте, было сказано — и раздался выстрел.

Я стоял поодаль от брата и намного выше по урезу. И вот слышу сверху:

— А ведь попало, — и так хладнокровно сказал это наш Эмиль Давидович. И, вижу, наклонился ощупать рану на правой ноге, как раз посередине между коленом и ступней.

Сомнений не могло быть. Дело вышло совсем не шуточное. И Эмиль Давидович зашатался, хромает. В первую минуту, очевидно, не ощутил и боли, а дальше — дело другое. Брат был в отчаянии, совершенно растерялся. Эмиль Давидович крепился, будто это пустяки. Ведь сам же виноват. А до дому далеко. Не может же Эмиль Давидович идти пешком, да рану, рану-то, какая бы она ни была монтекристная, надо же перевязать.

Я побежал в город. Главное, достать извозчика.

Бегу, тороплюсь. Туда-сюда. В одну улочку, в другую. Нет извозчика. Надо же было, чтобы только на Завальной улице у самой нашей квартиры нашел какие-то утлые дрожки. Вскокиваю:

— В Закрет!

Но только поднял глаза, вижу, на угловом балкончике стоит отец.

— Ты куда?

— Да я так, — не знаю, что сказать, и погоняю извозчика.

— Стой!

Отец сейчас же сошел вниз и сразу, не говоря ни слова, сел рядом со мною. Как я ему объяснил, что случилось, уж не помню. Но, конечно, и в моем рассказе важную роль играли эти совершенно непонятные и совершенно презрительные слова по отношению к монтекристо Эмиль Давидовича: «Стреляйте». И не стану скрывать, что, хоть это и не сказалось, а осталось совсем затаенно в глубине наших с братом взволнованных душ, героем дня, так сказать, молодчиной сказался «подарок дяди Вани». Думали, мол, игрушка, дрянь, всего на каких-нибудь двадцать-тридцать шагов хватает, а вот, на-ка, человека ранило, да еще на пятьдесят шагов, никак не меньше.

Недели три провалялся бедный Эмиль Давидович. И в больнице лежал, и дома маялся. Тогда ведь не было Рентгеновых лучей и вообще теперешних усовершенствований. Какой-то зонд ему в рану опускали, все искали маленькую пульку, а она куда-то сползла, и так и не нашли ее. Только надеялись, что она обнаружится. И еще слава Богу, что не было заражения крови.

### Мальчик с катка

— Вот и мальчик с катка прибежал.

Этими словами меня встретила графиня Маврус, когда я пришел на детский танцевальный вечер в особняк Маврусов на Георгиевском бульваре.

И правда: я был мальчик с катка. Там проводил я с Эмилем Давидовичем неизменно и каждый день все время от завтрака до обеда. По катку меня знали все не бывавшие и бывавшие у нас знакомые моих родителей, потому что тут на всю зиму был центр русского общества. А меня еще принарядили для катка. Я приходил в особом костюме: короткой, отороченной мерлушкой, темно-синей куртке на вате и таких же штанах в сапоги; на голове мерлушковая шапка с бархатным верхом. В таком виде и портрет с меня писал Сегаль. Большой портрет тушью, но только не очень-то удался и никогда никакой рамки не удостоился. Думаю, что и эти графы Маврусы, местные богатые люди, пожелали меня иметь на своем вечере именно из-за некоторого моего светски конькобежного успеха.

Для меня это первое приглашение к чужим людям на танцевальный вечер возымело большое значение. Что брат мой уже не маленький ребенок, с этим все свыклись: еще бы, гимназист, да еще и третьеклассник. А я? Тоже, оказывается. И было решено, что эти ужасные детские курточки с большими круглыми крахмальными воротничками и бантиком в виде галстука — терпеть их не мог — уже не по возрасту. Не в этакой курточке надо вести большого мальчика на танцевальный вечер. Конечно, большого! Уже были вызубрены при посредстве Эмиля Давидовича латинские неправильные глаголы. Пора поступать в гимназию, надеть синий мундирчик. Да еще и прямо во второй класс меня готовили. Что не бывать мне в Виленской гимназии, еще не зналось. Еще только самая первая кончилась моя пятилетка, и таинственный смысл этого срока не выявился. Но все равно, явно или тайно, еще только потенциально или на самом деле, но уже последний год отец мой служил по военно-судебному ведомству и последнюю зиму мы доживали в Вильне.

Для меня это новое, что сулила судьба, и новое, что и я ощущал, и ощущал остро: конец детских лет до поступления в гимназию, слилось с моим преобразованием. К вечеру у Маврусов мне был заказан костюм у настоящего портного и из настоящего сукна, как у мужчин, а не из какой-то бабьей материи. Тоже курточка, но с одной только пуговкой под подбородком и с круглым воротником, а под нею жилет, мужской жилет с карманами; все как следует. Короткие штаны, туго потянутые чулки — какие-то такие я себе купил подвязки, что до крови стирали, из проволоки, прижимистые — и высокие ботинки на пуговках. По случаю такой нарядности, вполне подходящей для мальчика, которого приглашают на танцевальные вечера, я и прическу себе изменил. Научился старательно проводить себе пробор по середине. Тогда была такая мода, и надо было, чтобы волосы

двумя правильными полукругами спускались на лоб. Это не был «капуль», а, так сказать, допустимое хорошим вкусом его уподобление.

Толстый, щекастый, неуклюжий, некрасивый, но все же, насколько позволяла неудачная наружность — ведь тут ничем не поможешь, — очень приличный мальчик.

Однако, увы, я не умел танцевать.

Впрочем, как будто детей, умевших танцевать, на вечере у Маврусов не оказалось. Ни у кого танцевальных уроков, как помнится, не устраивалось, значит, откуда же научиться. И вечер прошел ни шатко ни валко. У меня сохранилась в памяти скука. Ничего хорошего. Определенно неудачен был этот мой первый светский выезд. И такое же бледное, никудышное впечатление произвел этот вечер и на моего брата. И никогда после мы не вспоминали ни о нем, и об этих графах Маврусах. Мы только помнили, что они были очень черномазые.

Но это прозвище, данное мне графиней Маврус, которой и лица не помню, осталось. Не то чтобы его подхватили. Нет. Оно осталось во мне.

Мой портрет в костюме конькобежца, нарисованный Сегалем, не удался. И ведь и сам я не стал конькобежцем. Как и во всех других спортах, разве что править лошадьми и спускаться с ледяных гор на санках, я не достиг ничего, что выше посредственности. Может быть, и мускулов довольно твердых не было и пальцы слабы, может быть, и куда там с таким несуразным сложением, как мое. Но вот тот другой костюм, сшитый у настоящего портного для вечера у Маврусов, словно прирос ко мне, словно стал не одеждой, а оболочкой, формой, исходящей из сути.

В нем я снят, вместе с братом, на большой фотографии, всегда стоявшей у матери в гостиной. Он был оправлен в круглую рамку под желтую бронзу. Я стою в том нарочитом костюме, а брат рядом сидит верхом на стуле, облокотившись скрещенными руками на его спинку. Брат уже подросток, ему пошел четырнадцатый год. Он стройный, с живыми глазами. На нем гимназический мундирчик. Волосы с пробором сбоку неряшливо, но совсем прилично зачесаны. Я всегда любил этот портрет брата. И всегда мучила противоположность со мною. Тут как-то воочию, всей моей фигурой и выражением почему-то сонных глаз отобразилась нелюбовь моего детства. Словно через магическое зеркало, через гороскоп я читал себя на этой фотографии. И неспроста этот полукапуль. Разве не хлыщеватость какая-то в позе и в костюме. Что это? Никакой непосредственности, как во всей фигуре и в выражении лица у брата. Внутренние противоречия и недовольство собою, какое-то и внутреннее и внешнее преодоление, именно это чувство, будто кем-то во имя чего-то приказанного, преодоление: наружности, характера, врожденных недостатков, но не упорное, а глухое, без настоящей веры ни в себя, ни в какие-то устои понятий и верований, все это долго,

всю жизнь я видел ясно сквозь это свое изображение и отворачивался от него. Не надо! Сгинь! Зачем? И без этого невмочь! Нет-нет, так! Гляди! Гляди! Себя гляди и никуда, ни через сколько лет, ни после скольких испытаний не уйдешь, вот от этого одиннадцатилетнего мальчика, даже не двойника, а самого себя, непреодолимого, безысходного, неотвратимого!..

### 13-я Кавалерийская дивизия

Мы еще жили в маленькой квартире на главной улице, наискосок от Собора и не доходя до Остробрамы, когда как-то раз нам с братом говорят, что у нас на кухне улан. Настоящий и во весь рост улан в шапке с султаном, с желтыми канатами по всем швам синего мундира, с желтым лацканом на груди, огромной саблей и грохочущими шпорами.

Скорей, скорей побежать своими глазами увидеть.

Оказывается, Кузьма, нашей барщины, из деревни Ненагожник. Взят по набору для отбывания воинской повинности — она тогда только что была введена, — и вот — улан. Узнал, что в Вильне есть свои господа, и пришел. И долго после все годы, что мы жили в Вильне, вроде как воспитанники закрытых учебных заведений, приходил к нам на побывку Кузьма. Мы брали его в детскую, и на всю жизнь сохранилась эта дружба. Так это было в те времена: своей барщины, в первые годы после освобождения крестьян, значило что-то вроде родственника. Отпало все тяжелое, и если оно не тяготело над отношениями, тогда, напротив, оставалось какое-то сентиментальное, никакими практическими или вообще деловыми или правовыми отношениями не определяемое, тяготение друг к другу. Любопытно, что у моего брата, хотя и он родился после освобождения, это чувство к своим крестьянам оставалось неизменным во все годы старого режима. И крестьяне — конечно, не все, а более близкие — ему платили тем же. Медленно, но, разумеется, само собою исчезла эта связь. Смысла в ней больше не было, она была атавизмом и, значит, я бы сказал, и с той, и с другой стороны ее стыдились. Про себя скажу, что именно так: заглушал в себе это чувство, такое живое у брата. И именно потому, что стыдно. Ну что за глупости? И думать надо перестать?

Однако не к тому вспомнил о Кузьме, а потому, что он служил в 13-м Уланском Владимирском полку, и тут — совсем другая связь, не прошлого, а будущего. 13-я Кавалерийская дивизия, первая, которую я почти через сорок лет встретил, когда приблизился к фронту и в которой сделал Великую Войну, стояла в 70-х годах около Вильны. А ведь Владимирские уланы — мой полк, родной и до сих пор, и так будет до смерти.

Тогда, ребенком, я видел всю 13-ю дивизию на каком-то параде. И был я тогда совсем маленьким. Одно по-своему характерное воспоминание говорит за

то, что на этот парад меня взяла мать, когда-то еще раньше, чем появился Дюга. А брат, по-видимому, уже поступил в гимназию, потому что я с матерью был вдвоем. Вот какое маленькое обстоятельство. Мы ехали на парад не на извозчике, а в коляске, вероятно, нарочно для этого нанятой, и ехали долго. Когда вошли на какую-то трибуну с отдельными ложами, встретили знакомых. Вероятно, тут была и Ал<ександра> Фед<оровна> Лермонтова, потому что ее муж должен был проводить свой полк, и мы с особенным вниманием на него смотрели. Даже, помню, меня удивило, что скомандовал он высоким тенором, а это, показалось, не вязалось с его плотной фигурой. Случилось же то, что мать мне что-то сказала по-французски, а я по-русски ответил. После Дюга это было бы невозможно. А мать не то что рассердило. Это бы при ее воспитанности было совсем естественно, но в том-то и дело, что обидело, а не рассердило, и жаль ее мне стало. Вон что я такое гадкое сделал. Мать объяснила потом, что так неприлично, когда из снобизма — тогда говорили: из чванства — какая-нибудь дама при других в обществе заговорит по-французски, а дети-то вовсе и не знают. Дешевое, неприличное чванство. Значит, люди плохого тона. И вот я — а я ведь превосходнейшим образом мог ответить по-французски — так нет-таки. Осрамил. Что-то подумают. Стыдно.

И отравило мне это удовольствие видеть парад.

Еще и это уже по неопытности вполне простительной — неприятно было, зачем это приходят войска в облаках пыли, и формы-то едва разберешь.

Как бы то ни было, вот первый полк дивизии, полк Лермонтова — драгуны Военного ордена. Черные кивера и черные мундиры, чуть видны желтые канты. Драгуны без них, с винтовками за плечами. Проходят рысью, эскадрон за эскадронами. Их тогда было всего четыре. И будто отлично прошли, а мне показалось, совсем не стройно, как-то подпрыгивали кивера, тряслись драгуны. А ведь тогда еще только-только была ослаблена посадка с оттяжкой с каблука и на длинных стременах. Об облегченной рыси и помину не было. Сбора на задних ногах уже не требовали, но езда еще была в два повода и все-таки в крутом сбору. А за драгунами, на рыжих конях, — уланы на гнедых. Владимирцы! Болтались белые султаны на лихо набекрень заломленных шапках. И только уланы с пиками. Кирасирские армейские полки были уже все переформированы, как орденцы, в драгуны. Но плохо помню, как шли владимирцы, и неприятно, точно я тогда провинился, не угадал, не видел вперед даже самым затаенным смыслом, взором предугадывания. Дальше Нарвские гусары в голубых доломанах и красных чакчирах, в таких же, как и у драгун, нагнутых вперед и кверху суживающихся киверах, но только желтых. Они на серых конях. Какие казаки — не помню.

Знал ли я тогда эти частности? Формы — разумеется. Но Кавалерийскую седловую, мундштуки, ленчики, вьюки — едва ли. И никогда, ни тогда, ни после,

я не знаю за собой стремления к войску. Не хотел быть военным, и в солдаты играл без увлечения. Да и наша семья не была кавалерийская. Отец всегда держал верховую лошадь, любил ездить, но я всегда знал, что и он и дедушка были пехотинцы. И не бывало у нас в доме кавалерийских офицеров.

Только один, и о нем нельзя забыть, потому что тут опять 13-я Кавалерийская дивизия и ее зовущая вперед, в будущее, связь с моей судьбой.

Этот офицер, гусар Нарвского полка, был наш однофамилец, тоже Аничков, нашего же рода, только какой линии, так и не выяснилось. И вообще, мы о нем — ни откуда, ни кто его отец — ничего не узнали, но он стал ходить к нам запросто и выдавал себя за племянника отца. Он был высок и грузен, некрасив и даже с довольно неприятным выражением лица. Потом во время войны, когда отец был комендантом Сан-Стефано, он опять стал состоять при нем, и вместе они ездили в Константинополь. Позднее, уже взрослым, я встретил его в Петербурге интендантским полковником. О прежнем не вспоминали ни я, ни он, и что было вспомнить, каким-то статистом он побыл и исчез, не оставивши по себе ничего.

Однако с сыном его повторилось очень схоже. Какое-то на очень малой шкале, ну не вечное, но вроде того возвращение.

Уже во время Великой Войны я пришел с восемью Владимирскими уланами для связи со штабом которого-то корпуса. Когда спешил, вижу: еще такие же кавалеристы для связи: Гродненские гусары. Меня еще поразила их отчетливая седловка. В первый раз я видел гвардейскую часть на фронте. Нечего и говорить, так и следовало ожидать: гвардия. Вхожу в штаб, являюсь и как-то неожиданно, несколько раз слышу — произносится моя фамилия. И с прибавкой: корнет, а я еще был прапорщиком. Поправляю. Оказывается, речь вовсе не обо мне, а о корнете Гродненского гусарского полка, моем однофамильце. Это был сын того Нарвского гусара. И стал он со мной дружить без всякой охоты с моей стороны. После узнав, что мой Ига — паж Ускоренных курсов, он ходил к нему, во время своего отпуска в Петербурге и зачем-то настаивал, чтобы Ига вышел в гродненцы. Что ему было надо? Именно в этой никчемности вся соль. Привяжется иногда, когда едешь по лесу, паутина, и тянется. Что это? Нет, оборвалась. Или когда я шел с Мурманна до самых берегов Англии, над пароходом реяли все те же чайки. Спутницы наши. Какое расстояние перелетели, а вот оборвалось, и не стало чаек. Только может быть и через этих неожиданных, похожих на статистов, как будто совсем неосмысленных и пустых спутников передается связь событий?

Два гусара: отец Нарвский, сын Гродненский, а в какой-то ненужной смежности — два улана. Отец Владимирский, а сын Варшавский Его Величества. Хоть на расстоянии скольких лет, но отцы одной дивизии, а сыновья одной бригады.

А странная она была, 13-я Кавалерийская дивизия, во время Русско-турецкой войны: драгунами Военного ордена командовал Лермонтов, а Нарвскими гусара-

ми — Пушкин<sup>54</sup>, да еще родной сын поэта. Еще и бригадный командир Крылов. Только владимирцами будто какой-то случайно попавший в эту компанию командовал Дохтуров<sup>55</sup>.

### **Брат и я, турки и славяне**

Пять лет, проведенные в Вильне, разъединили нас <с> братом. Сказалась разница лет: мне — от шести до одиннадцати, ему — от девяти до четырнадцати. Совсем разные мальчики. Брата Ваню сразу стали готовить в гимназию, и он ушел от меня в этот еще запертый, неизвестный, почти таинственный мир учения и проказ. Он со сверстниками Столыпинами, Веревкиными, и там свои шалости, дурные отметки, учителя, уличные драки. Раз за что-то очень бранили моего брата, но он будто исправился, и ему не грозило быть исключенным, как его другу Пете Веревкину.

Так уже в далекое прошлое ушло то время, когда мы жили общими интересами, особенно рассказывали друг другу от первого лица небывалые похождения. Последнее общение этого рода был мой роман — кажется, три-четыре страницы были даже написаны — с его особенно знаменательным эпизодом, на котором и прервался роман. Высоко трагическое это было место: «вдруг приезжает американец с пистолетом». Долго потешался брат надо этой фразой. Она у нас стала синонимом литературной нелепости. «Вдруг» — еще туда-сюда; но почему «с пистолетом»? А для меня главное-то было именно в том, что у американца оказался наготове пистолет. Для чего, это дело другое и даже осталось невыясненным. Но пистолет! Разве не страшнее и не интереснее всяких привидений. Но я нисколько не обиделся. Напротив. Мы вместе смеялись. Критика была уничтожающая, но основательная.

Уже прошло время радовавших нас вместе, а позднее таких же любимцев и моих детей, книжек о Степке Растрепке с великолепными картинками и такими звучными стихами, из которых и теперь помню:

В страхе маменька сидит  
Ничего не говорит.

Ну разве не высочайшего трагизма достигает сцена, когда длинный-длинный, с развивающимися фалдами портной бежит отрезать Степке огромными ножницами палец за то, что он совал его в рот. Да всего разве перескажешь? Но любимой книгой брата, и она осталась такой до Бог знает какого времени, был роман Купера в русском переводе «Лоцман». Было целых три томика. Я же никогда не мог одолеть и одного. Пока брат читал затем Майн-Рида и Купера, я оставался верен «Bibliothèque Rose». Особенно эти зачарованные «Le bon petit diable» и «Les mémoires d'un âne». Столько раз пересматривались картинки и особенно похож-

дения осла! Он был героем, учителем жизни, высшим проявлением и добра, и мудрости, и показателем несправедливости, к какой способны люди. Он был живой до осязаемости. Я был совсем на его стороне, когда он сбросил злого мальчика в пруд, я гордился им, когда, попав к ярмарочным фокусникам, он сразу проник во все хитрости их ремесла, и я ненавидел здорового кучера, который бил его огромной палкой за мнимую провинность. Из того, что через брата я узнавал по книгам Майн-Рида, меня интересовали разве мустанги. Индейцы совсем не останавливали моего внимания. Всего интереснее был какой-то старый плантажер, который никогда не спал. Мне долго хотелось, хоть на Жданях, вот так как он, когда все улягутся, взять стул и выйти с ним на балкон, просидеть всю ночь. Особенно же — судьба злого Шакры. Также до осязаемости живо переживал его борьбу с течением, когда его лодку тащило в сторону водопада и, как наяву, я видел его труп, который крутило под водопадом.

Зато вместе с одинаковым увлечением мы читали, впрочем, больше смотрели картинки иллюстрированного издания «Детей капитана Гранта» во французском переводе. Наш общий любимец был, конечно, Паганель. Пожалуй, и весь интерес сводился к Паганелю, к личности, а вовсе не к сюжету рассказа и не к результату поисков.

Тянулись годы, жили вместе. Всегда спали в одной комнате и сохранили эту привычку до смешного долго. Но если, вспоминая о брате, я невольно перешел на книги, которые мы читали или вместе, или врозь, то это оттого, что, строго себя проверив, я должен прийти к выводу на первый раз очень странному: *я совсем его не знал*. Ну, конечно, я знал его привычки, вкусы, взгляды, знал, чем все это отличается от моих, но я понимаю другое. Я часто и потом замечал, насколько мало знают друг друга самые близкие родственники: родители детей, дети родителей, братья, сестры. Надо совсем особое и довольно редко дающееся напряжение, чтобы наконец — и это приходит очень поздно — как-то прояснилось: вот что это был за человек, вот основные его качества и недостатки. Во всяком случае так было со мной относительно брата. Если этим воспоминаниям суждено пойти так далеко, как это предполагается, скажем проще, если я доживу до того, когда об этом хронологически надо будет рассказать, продолжая эту своего рода работу, тогда я постараюсь объяснить, как и почему долго-долго я пребывал в этом поразительном непонимании моего брата и каким ударом, мучительным до острой боли, оказалось прозрение.

Ребенком, как-то не вдумываясь, как подробность я не мог не видеть, что мой брат, красивый и стройный, физически слаб, до смешного боится щекотки, гораздо менее ловок, чем я, хотя я калека, не схватывает совсем ритма. Все это объяснялось тем, что он родился семимесячным. Говорили, будто его выдержали в бульоне из телячьих ножек. И вот он физически недоразвит. Однако это ни на

одну минуту никогда мне <не> мешало чувствовать его старшинство и отсюда превосходство. И если я воспринимал окружающее, то непременно не то что под влиянием брата, но уж никак не помимо этого влияния.

От него я, конечно, узнал и о надвигавшихся на нас событиях.

Герцеговинское восстание, турецкие зверства, башибузуки, потом портреты Черняева<sup>56</sup>, добровольцы, битва под Алексинацем<sup>57</sup>, восточный вопрос, дальше уже начало войны, переход через Дунай, румыны, король Милан<sup>58</sup>, портрет Дубасова<sup>59</sup>, разговоры, статьи — все это не могло не заслонить, как бы в угол забросить детские книги. Волновало, заставляло думать. Мать захватило одно выражение, которое пестрило в газетах: *status quo*. Она его произносила: «стату куо» и не совсем, кажется, ясно понимала, что это значит. А ведь дело шло о том, что восточный вопрос стал, наконец, яснее и больше чем когда-либо славянским вопросом. Славяне, их судьба, вечно ли им быть под турецким игом? Вот ведь что значило роковое событие на Балканах. Нас, детей, меня, по крайней мере, особенно взволновали какие-то рассказы как будто возвращавшихся из армии Черняева добровольцев о том, что такие сербы. Кто-то объяснял, что они выходили нашими предками. Они то, чем мы были когда-то. Славяне, что-то более древнее, изначальное, непочатое, без этого принятого в гостиных и даже семьях за обеденным столом французского языка. И воины, священники и те, с крестом в руках, ведут в бой. Кто-то приводил аргументы из особенностей языка. Сербов легко понять, надо только помнить, что они говорят по-церковнославянски. Тот же язык, на котором у нас идет служба. Например — это почему-то особенно твердо запомнилось — мы говорим: рот, а они: уста. Мы говорим: красиво, а они: лепо. А особенно черногорцы! Что и говорить!

Брат мой очень ревностно следил за всем, что писалось в газетах. Вырезывал портреты, смотрел по карте, запомнил все эти географические названия на Балканском полуострове. Но вот тут сказала одна особенность, которая определила всю его жизнь взрослого человека. Самая его старательно и полно собранная коллекция портретов была нашей. Не то что Сулейман-паша или Осман-паша, всех, каких только можно было откуда-то раздобыть пашей, всех он их знал, чуть ли не всю подноготную. И знал, сколько Турция выставила низамом, и сколько кавалерии, и какие формы, и что за ружья им доставили англичане. Сочувствовал, симпатизировал туркам. Это, конечно, не значит, что он был на стороне турок. Глупости! Это и в голову не приходило. Интересна именно эта пытливость в сознании тринадцатилетнего мальчика, будущего восточника. Да, именно с того времени так и поведется. Ваня, это — восток. Все восточное его тянуло и занимало. И тут — наше расхождение. Меня он не увлек. Что я думал о событиях одиннадцатилетним мальчиком? Конечно, то, что вся окружающая среда. Но

одно было ясно, я — не восточник; чужд, не занимателен, не нужен мне Восток, и так тоже повелось на всю жизнь...

Хотелось мне только постараться отличить и как-то повыпуклее это представить: война, ее причины, цели, перипетии, было для обоих нас — одно, и симпатии наши — одни. Но интерес, всколыхнутый войной, раздвоился. И меня вовсе не злоба к Турции удерживала от восточничества, и брата не злоба же против славян влекла к туркам. Мое западничество и его восточничество сказались по отношению к культуре. Так, что ли?

<Конец 3-й тетради>

Кламар — Париж

август 1931 г.

### Примечания

- <sup>1</sup> «Чижик-Пыжик» — шуточная песенка, используется при обучении детей музыке, мелодию легко сыграть на фортепиано одним пальцем. Не известен ни автор песенки, ни время ее появления.
- <sup>2</sup> Вардар — река в Северной Македонии, на ней расположена столица Скопье.
- <sup>3</sup> Дьяконова Александра Ивановна (урожд. Аничкова) (1842 — ?) — дочь Ивана Васильевича Аничкова и Натальи Дмитриевны Барыковой, замужем за Николаем Григорьевичем Дьяконовым.
- <sup>4</sup> Дьяконов Николай Григорьевич (1841 — ?) — Главного управления военно-учебных заведений столоначальник, майор, женат на Александре Ивановне Аничковой.
- <sup>5</sup> Муравьев Михаил Николаевич, Муравьев-Виленский (1796–1866) — граф, государственный, общественный и военный деятель эпох Николая I и Александра II. В либеральных и народнических кругах его называли Вешателем из-за решительного подавления польских восстаний, особенно восстания 1863 г.
- <sup>6</sup> Никаких данных касательно двоюродных братьев Е. В. Аничкова Козиных обнаружить не удалось.
- <sup>7</sup> Сегаль Максим Ильич (1860 — после 1923) — живописец, зодчий, член Петербургского общества архитекторов. В 1885 г. окончил Академию художеств.
- <sup>8</sup> Лелевель Иоахим (1786–1861) — польский историк, общественный и политический деятель, профессор Виленского и Брюссельского свободных университетов. В 1828 г. избран депутатом сейма Царства Польского. С началом Польского восстания 1830–1831 гг. член Административного совета, затем Национального правительства. Влиял на Адама Мицкевича и Михаила Бакунина, боролся против царизма. В Брюсселе познакомился с Карлом Марксом и наряду с ним и Фридрихом Энгельсом стал одним из учредителей международной Демократической ассоциации единения и братства народов, основанной в Брюсселе.
- <sup>9</sup> Карагеоргиевич Александр I (серб. Карађорђевић Александар I; 1888–1934) — король сербов, хорватов и словенцев (1921–1929), король Югославии (1929–1934). В 1906 г. окончил Пажеский корпус в Санкт-Петербурге. Был покровителем русской белой эмиграции. В 1934 г. Александр Карагеоргиевич и французский министр иностранных дел Луи Барту были застрелены в Марселе организацией ВМРО (Внутренняя Македонско-Одринская революционная организация), связанной с хорватскими террористами-уstashами. Отменил Парламент и ввел диктатуру в 1929 г.
- <sup>10</sup> Шептицкий Андрей (в миру Роман Мария Александр Шептицкий; 1865–1944) — митрополит, граф. Епископ Украинской греко-католической церкви, с 1901 г. до смерти — митрополит Галицкий и архиепископ Львовский, предстоятель Украинской греко-католической церкви. Доктор права, принадлежал к знатному западно-украинскому роду Шептицких. Значительно расширил греко-католическую церковь как на Украине, так и за рубежом, оказывал финансовую поддержку украинским культурно-просветительским обществам, выплачивал стипендии молодым художникам. В 1905 г. основал Национальный музей во Львове и приобрел для него большое количество экспонатов. Как Галицкий митрополит был депутатом Рейхсрата и Галицкого сейма. Противоречивая деятельность в годы Второй мировой войны: поздравил Гитлера с победой, когда немецкие войска взяли Киев в 1941 г., обратился с письмом к Папе Римскому и Гиммлеру, протестуя против геноцида евреев.

- <sup>11</sup> Д'Эрбини Мишель-Жозев Бургињон (фр. Michel-Joseph Bourguignon d'Herbigny, 1880–1957) — епископ-иезуит, посланник Ватикана, в 1920-х гг. на территории СССР рукоположил многих священников и совершил несколько тайных хиротоний. Руководил комиссией «Pro Russia» (1926–1933), задачей которой было ведение католической миссии на территории СССР. Свыше десяти лет руководил политикой Ватикана в отношении СССР; вел секретные переговоры с Чичериным и Литвиновым, а также с обновленцами.
- <sup>12</sup> Варнава (в миру Петар Росич, серб. Петар Росић; 1880–1937) — епископ Сербской Православной Церкви, с 1930 г. архиепископ Печский, митрополит Белградско-Карловачский, патриарх Сербский.
- <sup>13</sup> Поссевинова Антонио (1534, Мантуя — 1611, Феррара) — деятель католической контрреформации, иезуит. Безуспешно пытался обратить Ивана Грозного в католичество. После смерти Грозного поддержал план Батория завоевать сначала Москву, а потом только двинуться против турок.
- <sup>14</sup> Кузьмин-Караваев Дмитрий Владимирович (1866–1959) — юрист и религиозный деятель, католический священник византийского обряда, служил в Русском апостолате в зарубежье. Входил в поэтическое объединение «Цех поэтов» (1911–1914). Выслан в 1922 г. на «философском пароходе».
- <sup>15</sup> Волконский Александр Михайлович (1866–1934) — князь, русский военный дипломат, публицист, с 1930 г. католический священник византийского обряда, принадлежавший к Русскому апостолату. Внук декабриста С. Г. Волконского. Во время Первой мировой войны исполнял обязанности русского военного агента в Риме (1915–1917), после революции остался в эмиграции. Поддерживал тесные связи с генералом Петром Николаевичем Врангелем. Автор работ против украинского национального движения.
- <sup>16</sup> Гротта Феррата — Санта-Мария-де-Гроттаферрата (итал. Santa Maria de Grottaferrata), или аббатство святого Нила (итал. Abbazia di San Nilo) — единственный в Италии непрерывно существующий монастырь византийского обряда; основан святым Нилом Россанским в 1004 г. Находится в городе Гроттаферрата (область Лацио). Принадлежит итало-албанской католической церкви.
- <sup>17</sup> Кояловичи (польск. Kojałowicz, лит. Kojalavičiai) — литовский дворянский род герба Косцеша, восходящий к XVII в.
- <sup>18</sup> Сазановичи (белор. Сазановіч, польск. Sazanowicz) — родовая фамилия, присутствует в списках шляхетских фамилий Великого княжества Литовского, охватывающих период с 1764–1918 гг.
- <sup>19</sup> Острожские — древний княжеский род, представители которого с конца XIV в. занимали высокие государственные должности в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой, владели огромными поместьями на территории современных Украины и Белоруссии. Род угас в XVII в.
- <sup>20</sup> Скорина Франциск Лукич (1486–1551) — восточнославянский первопечатник, философ-гуманист, писатель, общественный деятель, предприниматель, ученый-медик. Переводчик на белорусский извод церковнославянского языка книг Библии, издатель этих книг. В Беларуси Франциск Скорина считается одним из величайших исторических деятелей.
- <sup>21</sup> Ченстоховская икона Божией Матери (польск. Matka Boska Częstochowska) — чудотворная икона Богородицы, написанная, по преданию, евангелистом Лукой. Главная святыня Польши. В Вильнюсе в Острабрамских воротах находится другая икона, также с темным оттенком лика, но изображена она без младенца Христа, т. е. это Богородица Заступница (Агиосоритисса).
- <sup>22</sup> Альбединский Петр Павлович (1826–1883) — генерал-адъютант, генерал от кавалерии, глава прибалтийских (1866–1870) и литовских (1874–1880) губерний, варшавский генерал-губернатор (1880–1883), женат на фрейлине княжне Александре Сергеевне Долгоруковой.
- <sup>23</sup> Долгорукова Александра Сергеевна (1834–1913) — княгиня, фрейлина императрицы Марии Александровны, статс-дама (1896), дочь князя Сергея Алексеевича Долгорукова и Марии Александровны Апраксиной, замужем за Петром Павловичем Альбединским.
- <sup>24</sup> Урусова Мария Дмитриевна (1871–1963) — княжна.
- <sup>25</sup> Голицын Дмитрий Борисович (1851–1920) — русский генерал от кавалерии, начальник императорской охоты. От его владений происходит название подмосковного города Голицыно. Участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг., в 1879–1881 гг. участвовал в Среднеазиатских походах. С 1913 г. состоял членом Совета Главного управления государственного коннозаводства. Женат на графине Екатерине Владимировне Мусиной-Пушкиной. После революции эмигрировал, жил на острове Принкипо (Турция).
- <sup>26</sup> Бельгард Алексей Валерианович (1861–1942) — эстляндский губернаатор (1902–1905), сенатор (1912–1917), мемуарист. С 1900 г. состоял членом совета Главного управления по делам печати, с 1905 г. начальник того же управления. В 1918 г. эмигрировал в Германию. В апреле-мае 1919 г. участвовал в формировании частей Белой армии в Германии и Прибалтике. В 1921 г. участвовал в Рейхенгалльском монархическом съезде, был рекомендован для участия в Русском Зарубежном Церковном Собрании в Сремских Карловцах в Сербии.

- <sup>27</sup> Урусов Николай Петрович (1864–1918, Пятигорск) — князь, гродненский (1901–1902) и полтавский (1902–1906) губернатор, член Государственного совета, расстрелян чекистами. В начале Первой мировой войны он был назначен главноуполномоченным Российского Общества Красного Креста при Черноморском флоте.
- <sup>28</sup> Столыпин Александр Аркадьевич (1863–1925) — журналист, поэт и политик, младший брат премьер-министра Петра Аркадьевича Столыпина. Редактировал «Санкт-Петербургские ведомости», сотрудничал с газетой «Новое время». После революции эмигрировал в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев.
- <sup>29</sup> Столыпина Наталья Михайловна (урожд. Горчакова) (1827–1889) — княжна, фрейлина двора, дочь генерала Михаила Дмитриевича Горчакова, наместника Царства Польского. Замужем за Аркадием Дмитриевичем Столыпиным. Во время Русско-турецкой войны Наталья Михайловна была сестрой милосердия.
- <sup>30</sup> Нейдгардт Дмитрий Борисович (186–1942) — сенатор, калужский вице-губернатор (1897–1902), полоцкий губернатор (1902–1903), градоначальник Одессы (1903–1905). Офицер Российской империи с 1878 до 1897 г. (гвардия). Нейдгардт Алексей Борисович (1863–1918) — политический и государственный деятель. Расстрелян без суда в 1918 г. вместе с епископом Лаврентием и настоятелем Нижегородского кафедрального собора священником Алексеем Порфирьевым. Причислен к лику святых Русской православной церковью в 2000 г. вместе с епископом Лаврентием и отцом Алексеем. Одна из его сестер, Ольга Борисовна Столыпина, — супруга Петра Столыпина.
- <sup>31</sup> Веревкин Петр Владимирович (1862–1946) — российский государственный деятель. Ковенский (1904–1912), Виленский (1912–1915), Эстляндский (1915–1917) губернатор. После 1917 г. в эмиграции. Брат художницы Марианны Веревкиной.
- <sup>32</sup> Веревкина Марианна (1860–1938) — художница, представительница экспрессионистского течения в живописи. По материнской линии — внучка писательницы и педагога Анны Дараган. Училась рисованию у Репина в Санкт-Петербурге. С 1896 г. жила за границей, была знакома с Кандинским, Матиссом. В числе основателей Нового Мюнхенского художественного объединения (вместе с Кандинским, Явленским и др.) в 1909 г.
- <sup>33</sup> Лермонтов Сергей Александрович (1861–1932) — дипломат, посол Российской империи при Вюртембергском дворе (1912–1914), камергер, действительный статский советник. Сын Александра Михайловича Лермонтова и Александры фон Стюарт.
- <sup>34</sup> Лермонтова Александра Федоровна (урожд. Стюарт) (1835–1917) — баронесса, дочь барона Фридриха Густава Стюарта и Роксаны Дмитриевны, замужем за генералом Александром Михайловичем Лермонтовым.
- <sup>35</sup> Лермонтов Александр Михайлович (1838–1906) — генерал от кавалерии, командир 13-го драгунского Военного ордена полка, освободил Бургас в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Отчество Федорович, вероятнее всего, ошибка мемуариста.
- <sup>36</sup> Лермонтов Михаил Александрович (1859–1917) — генерал-лейтенант. Сын Александра Михайловича Лермонтова и Александры фон Стюарт. Выпускник Императорского Пажеского корпуса. Начальник Петергофского Дворцового управления (с 1906), управляющий Царскосельским дворцом. Собирал гравюры, литографии, карты, книги, мемориальные вещи на тему наполеоновских войн.
- <sup>37</sup> Стюарт Александр Федорович (1842–1917) — барон, естествоиспытатель и общественный деятель. Директор Национального музея этнографии и естественной истории в городе Кишиневе.
- <sup>38</sup> Карцов Юрий Сергеевич (1857–1931) — дипломат и публицист. Был дипломатом на Ближнем Востоке, в Сербии, в Англии. Печатался в «Новом времени» и «Санкт-Петербургских ведомостях».
- <sup>39</sup> Никаких данных касательно Андрея Сергеевича Карцова обнаружить не удалось.
- <sup>40</sup> Карцова Ольга Сергеевна (1856–1934) — дочь Сергея Николаевича и Екатерины Сергеевны Карцовых, замужем за Иваном Хрисанфовичем Колодеевым. Ее ум и образованность отмечали многие, в том числе и Константин Николаевич Леонтьев. Посвятила себя мужу и его делу собирательства знаменитой Новой Борисовской коллекции по эпохе наполеоновских войн, позже переданной в дар Музею 1812 года, занималась общественной деятельностью.
- <sup>41</sup> Остен-Сакен Эрнест Рудольфович (1841–1911) — дворянин, генерал от инфантерии, выпускник Военно-юридической академии. Главный военный прокурор (с 1888) Виленского военного суда, потом главный военный прокурор России и начальник Главного военно-судебного управления (1908–1911).
- <sup>42</sup> Остен-Сакен Екатерина Кирилловна (урожд. Зыбина) (1845–1923) — происходила из семьи, многие представители которой были даровитыми и известными музыкантами.
- <sup>43</sup> Фаминцын Сергей Андреевич (1803–1879) — гвардии капитан, статский советник.
- <sup>44</sup> Речь идет о книжках для детей, написанных графиней Софи де Сегюр (урожд. Ростопчина, Софья Федоровна) (1799–1874) — французской детской писательницей русского происхождения, которая в «Розовой библиотеке» опубликовала более двадцати книг.

- <sup>45</sup> Шванебах Фридрих Антонович (1828–1878) — генерал-майор, участник Кавказской войны.
- <sup>46</sup> Гроос Карл (нем. Groos Karl) (1861–1946) — немецкий философ и психолог. Выдвинул одну из первых концепций молодежи на основе характеристики молодости как переходного возраста. Его относят к авторам биологически и психологически ориентированных теорий молодежи.
- <sup>47</sup> Половцев Александр Александрович (1832–1909) — государственный и общественный деятель Российской империи, сенатор, промышленник, меценат. Один из основателей Императорского Русского исторического общества. Большие средства тратил на благотворительные и образовательные цели, в том числе на поддержание Центрального училища технического рисования барона Штиглица. Приобретал на собственные средства произведения искусства, редкие книги и гравюры для музея и библиотеки.
- <sup>48</sup> Половцев Александр Александрович-младший (1867–1944) — дипломат, этнограф, ориенталист, занимался эпиграфикой, собрал коллекцию антиков. Старший сын миллионера, государственного секретаря Александра Александровича Половцева от брака с Надеждой Михайловной Июневой, внебрачной дочерью великого князя Михаила Павловича Романова. Внучатый племянник императоров Александра I и Николая I.
- <sup>49</sup> Мусселиус Владимир Васильевич (1846–1920) — филолог, статский советник, преподаватель латинского языка, один из редакторов Русского биографического словаря А. А. Половцева.
- <sup>50</sup> Радзивилл Доминик Мария Игнаци (1852–1938) — князь, женат на Долорес Марии Франциске де Аграмонте (1854–1920).
- <sup>51</sup> Радзивилл Константин Винцент Мария (1850–1920) — князь, женат на Луизе Антуанетте Блан (1864–1911), дочке миллиардера Франсуа Блана, создателя казино Монте-Карло.
- <sup>52</sup> Гревэн Альфред (фр. Alfred Grévin) (1827–1892) — французский художник, иллюстратор «Смехового журнала».
- <sup>53</sup> Шеве Эмиль Давидович (1851 — ?) — преподаватель немецкого языка в Санкт-Петербургской Второй гимназии, а также в Николаевском Кадетском корпусе и в женской гимназии Гедда.
- <sup>54</sup> Пушкин Александр Александрович (1833–1914) служил в Пажеском корпусе, командир 13-го Нарвского гусарского полка.
- <sup>55</sup> Дохтуров Михаил Николаевич (1824–1911) — генерал от инфантерии, участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. После Пажеского корпуса прослужил в лейб-гвардии Уланском полку. Во время Русско-турецкой войны был во главе Московского драгунского, Санкт-Петербургского уланского, 1-го Донского казачьего полков, 1-й конно-артиллерийской батареи.
- <sup>56</sup> Черняев Михаил Григорьевич (1828–1898) — русский генерал, участвовал в Венгерском и Туркестанских походах, Крымской, Кавказской и Сербско-турецкой войнах. Главнокомандующий Сербской армией (1876), Туркестанский генерал-губернатор (1882–1884). В Сербии имя Черняева было своеобразным символом славянского братства. Получил Орден Таковского креста (государственная награда Княжества Сербии) и многие другие.
- <sup>57</sup> Битва под Алексинацем — сражение между Княжеством Сербия с Османской империей, состоялось 1 сентября 1876 г. Окончилось победой турок и началом Сербско-турецкой войны. Вместе с Сербией сражалась и российская армия (командовал Михаил Григорьевич Черняев).
- <sup>58</sup> Милан I Обренович (1854–1901) — князь (1868–1882) и первый король Сербии (1882–1889) из рода Обреновичей. Во время его правления Сербия стала независимой от Турции (после Русско-турецкой войны (1877–1878), по решениям Берлинского конгресса). В марте 1889 г. Милан отрекся от престола в пользу своего сына Александра и продолжил жить в Париже под именем графа Такова.
- <sup>59</sup> Дубасов Федор Васильевич (1845–1912) — русский военно-морской и государственный деятель, участник Русско-турецкой войны (1877–1878), генерал-адъютант (1905), адмирал (1906) из дворянского рода Дубасовых. На посту московского генерал-губернатора (1905–1906) руководил подавлением Декабрьского вооруженного восстания.

**IN FORMER RUSSIA AND ABROAD  
THE STORY ABOUT THE FATE  
OF THE MOTHERLAND AND ABOUT MYSELF**

*Evgeny Anichkov*

Preparation of text and notes by Kornelia Ichin (*Kornelija Ičin*)

**PART ONE**

**Childhood, ancestors, parents and relatives**

**CHAPTER I**

**In St. Petersburg, the Caucasus and the Moscow Region**

*Glimmers of memory — a boy with a book — Cossacks and mountain rapids. — Cornelian-cherry dogwood, dzhapary, white donkey and castle Keragli. — The Alder King in Transcaucasia. — Parents and acquaintances. — Arrival of The Sovereign. — Back to the North. — Novosil'covy. — We are children.*

**Chapter II**

**Vilna five-year anniversary**

*Childish yearning. On Zhdanjah. — New outskirts. — Civilization and the convent. — Vilna — a small town. — Acquaintances and friends. — Situation and mores. — My game. — Three Tutors. — The boy from the ice rink. — 13th Cavalry division. — Brother and I, Turks and Slavs.*